

Г. ГОРБУНОВ

ДМИТРИЙ

ФУРМАНОВ



**Г. ГОРБУНОВ**

**Д**МИТРИЙ

**Ф**УРМАНОВ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**Москва • 1965**

Это очерк о жизни и творчестве замечательного человека — Дмитрия Андреевича Фурманова. Имя Дмитрия Фурманова овеяно славой боевых походов и занимает одно из почетных мест в советской литературе.

Вся юность Фурманова прошла в мучительных поисках истины, и только революция открыла перед ним широкие горизонты общественно-политической и творческой деятельности.

Фурманов, став коммунистом, был мужественным, принципиальным солдатом нашей партии.

Два с половиной года он находился на фронтах гражданской войны, потом в течение четырех лет писал свои произведения, страницы которых обессмертили имена легендарных героев. Смерть оборвала его новые творческие замыслы, когда ему минуло 34 года.

Автор очерка, ивановский журналист Г. И. Горбунов, собрал интересные, новые материалы о жизни Фурманова. Им использованы дневники Дмитрия Андреевича Фурманова, воспоминания его друзей и близких.

*Горбунов Геннадий Иванович.*

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ. М., Политиздат, 1965.  
160 с. с илл.

8Р2 + ЗКП1(092)

Редактор *В. Шальнева*

Художественный редактор *Н. Симагин*

Технический редактор *Ю. Мухин*

Сдано в набор 22 января 1965 г. Подписано в печать 10 апреля 1965 г. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Физ. печ. л. 5 + 1/4 (иллюстрации). Условн. печ. л. 8,81. Учетно-изд. л. 8,54. Тираж 100 тыс. экз. А 02592. Заказ № 2834.  
Цена 21 коп.

Работа объявлена в Т. п. 1965 г., № 45.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

! Типография «Красный пролетарий» Политиздата.  
Москва, Краснопролетарская, 16.

---

## Митяй

**В** знойный летний день, в самый разгар сенокоса, возвращался в родную деревню Алешино уволенный в запас солдат Андрей Фурманов. Шел он домой проселочными дорогами среди вековых ярославских и костромских лесов.

После многолетней казарменной муштры лесные запахи вызывали приятное головокружение, дышалось легко, думалось свободно. Солдату не терпелось увидеть земляков. Но, чем ближе подходил он к родным местам, тем тоскливее становилось на душе.

Вспомнились Андрею неласковые годы детства, с нуждой и помыканиями. Двенадцати лет он остался сиротой и пошел добывать себе кусок хлеба неокрепшими руками. «Ради Христа» устроили подработка в один из тракторов города Ростова. Андрей мыл посуду, разжигал печку, и «ради Христа» хозяин трактора готов был загнать его непосильным трудом в могилу.

Потом, когда он стал юношей, его взяли на военную службу. А теперь, после солдатчины, путь Андрея лежал в деревню Алешино. Кто его там ждет? Никто, конечно. Кем он там станет? Неизвестно! Что ему обещает будущее? Тоже неизвестно!..

Деревня Алешино находилась недалеко от древнерусского города Ростова, знаменитого своими старинными церквями с «малиновым» звоном, кликушами и богомольцами. Солдату встречались на пути дряхлые монахи, юродивые в веригах, которые утратили, казалось, человеческое обличье и уподобились попугаям, умеющим лишь монотонно прокричать несколько заученных слов.

Словом, в жизни родного края ничего не изменилось за долгие годы отсутствия Андрея Фурманова.



А вот наконец и деревня. В ней тоже ничего не изменилось, будто застыло все на веки вечные. Так же выглядели кабак, постоялый двор, несколько каменных домов деревенских богатеев и десятки обветшалых изб, где, кроме икон, глиняных горшков и деревянных скамеек, ничего не было.

В одной из таких изб временно остановился у дальних родственников Андрей Фурманов, не зная, куда податься, чтобы определить себя в жизни. Он был молод, красив, выделялся среди других здоровьем, выносливостью, рассудительностью. На него, больше чем на кого-нибудь, заглядывались деревенские девушки. Вскоре он женился на Евдокии Васильевне Серебряковой — дочери владимирского сапожника. Теперь Андрея односельчане почтительно называли Андреем Семеновичем, но одной почтительностью сыт не будешь, а нужда стучалась у ворот все безжалостнее и страшнее.

Андрею Семеновичу посоветовали поискать счастья в селе Серeda, что находилось в соседней Костромской губернии. В этом селе работали две крупные текстильные фабрики, и к ним тянулись разоренные крестьяне в надежде получить кров и пищу.

Серeda, расположенная в 30 верстах от фабричного города Иваново-Вознесенска, входила в тот широкий текстильный край старой России, откуда шли хлопчатобумажные ткани не только по всей стране, но и на международный рынок.

Приехав в Середу, Андрей Семенович не сумел устроиться работать на фабрику: слишком много было тогда безработных, а фабричная администрация без взяток, как правило, никого не принимала. Наступили дни тяжелых испытаний. Обратного пути в деревню не было: там ждала Фурмановых одна лишь беспросветная нужда. И вот Андрей Семенович устраивается половым в трактир Чиркова.

В Серede (ныне город Фурманов) живет Елена Ивановна Тиманова — девичья фамилия ее Мастерова, — которая в те далекие годы дружила со старшей дочерью Фурмановых, Соней. Сейчас Елене Ивановне 77 лет. Она сохранила в своей памяти приезд семьи Фурмановых в Середу. Помнит, как они сначала поселились в маленькой холодной комнате, похожей скорее на сарай, чем на человеческое

жилье, у трактирщика Чиркова. В комнате ничего не было, кроме деревянных скамеек да наспех сложенной печки.

— Потом,— рассказывает она,— Фурмановы переселились на квартиру в каменный двухэтажный дом бакалейного торговца Медведева.

7 ноября 1891 года в этом доме родился у Фурмановых третий ребенок — Дмитрий, которому суждено было стать выдающимся советским писателем.

В его раннем детстве не было никаких примечательных событий. Мальчик много времени проводил в лесу, среди таких же, как он, бойких ребятишек и отличался от других разве только тем, что любил придумывать новые игры.

В семье дружески называли его Митяем, и с тех пор это имя произносилось тепло и любовно, когда Фурманов появлялся среди друзей. Так звали его деревенские ребятишки в Середи, так звали его в Иваново-Вознесенске, так обращались к нему товарищи по революционной работе и гражданской войне, так произносили его имя ближайшие соратники по перу.

Но прежде, чем стать знаменитым писателем, Митяй прошел трудный, извилистый путь, полный радужных надежд и глубоких огорчений.

Первые шесть лет его детства прошли в фабричном селе Середи, в тесной дружбе с богатой русской природой, с ее царственно-сказочными лесами и перелесками, крутыми склонами и пригорками, зияющими оврагами, полными тайн и загадок. Через село шел торговый тракт, соединяющий Волгу с крупным текстильным городом Иваново-Вознесенском,— туда везли на подводах хлопок, заграничные краски, а оттуда — разноцветные ткани, запечатлевшие в себе буйное цветение васильков, ромашек, ландышей и фиалок.

«Я свое раннее детство,— писал Фурманов в автобиографии,— помню в жалких обрывках». Но навсегда сохранились в его памяти картины деревенской природы, которую он проникновенно чувствовал и любил в течение всей жизни.

Дом бакалейного торговца Медведева, где квартировала семья Фурмановых, находился вблизи великолепного пруда, в прозрачной воде которого

отражались пышные папахи столетних деревьев. Почти к самому селу плотной стеной подступал еловый лес, а за ним шел густой белотелый березняк. Длинными летними днями Митяй с ватагой деревенских ребятешек то ловил рыбу в пруду, то играл в лапту, то уходил в лес по грибы и ягоды.

Отец Митяя, работая в трактире, мог кормить растущую из года в год семью и даже откладывать «копеечку на черный день». Но Андрей Семенович думал не только о том, чтобы дети были обуты и одеты, он хотел, чтобы его сыновья и дочери могли получить образование, а в Серееде не было школ. Вот тогда-то Андрей Семенович и решил перебраться с семьей в Иваново-Вознесенск.

В 1897 году семья Фурмановых переехала в Иваново-Вознесенск. Сначала Фурмановы поселились на 2-й Троицкой улице, в доме Милова, в подвальном помещении. Потом отец купил под векселя дом на Александровской улице. Дом был старый. В этом доме Андрей Семенович открыл чайную, рассчитывая на посетителей из крестьян, приезжавших в город на базар.

Фурмановы жили более чем скромно. Вся обстановка в доме состояла из кроватей, стола, стульев и горки с посудой. Семья быстро росла. Вслед за Софьей, Аркадием и Дмитрием родились Александр, Сергей, Лиза и Настя. Дети приносили много хлопот родителям, особенно заботливой и любящей матери, Евдокии Васильевне. Она настойчиво приучала детей к чистоте и опрятности, к честным, правдивым поступкам.

В Иваново-Вознесенске у Митяя появились новые друзья: чудаковатый мальчик, по прозвищу Ванька-клоун, и Федя Зайчиков, человек уже взрослый, женатый, служивший у отца Фурманова официантом.

Вспоминая свои ранние годы, Фурманов записал потом в дневник следующее: «В детстве... я особенно любил ходить за грибами, за ягодами и на рыбную ловлю. Бывало только и глядишь, как бы обмануть дома и удрать то в лес, то на реку... Особенно памятны мне походы наши за грибами во главе с Федей Зайчиковым... Этого Федю мы очень любили — он был мастер и врать и «пули лить», и сказки рассказывать... Какое удовольствие бродить

по лесу... рыться в траве, расшвыривать сухие листья, наблюдать за бегом муравья, за полетом птички, за порханием бабочки... Как все это хорошо... В какой гармонии сочеталось здесь величественное с кротким. Как возвышаешься здесь душой».

В 1899 году Митяя определили учиться в городское шестиклассное училище. Занимался он прилежно и, приходя домой, не без гордости показывал сестрам и братьям «пятерки».

Митяй уже в те годы пробовал писать стихи, искал товарищей, которые могли бы разделить с ним литературные занятия.

К сожалению, до нас не дошли стихи Фурманова тех лет, и только Николай Михайлович Хлебников, ныне Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке, рассказывает в своих воспоминаниях о делах давно минувших лет... «По инициативе Митяя,— пишет он,— мы начали выпускать первый наш ученический журнал. Помещали сатиру, стихи, рассказы, рисовали карикатуры и шаржи, высмеивали отдельных учеников и нелюбимых учителей...

Только два-три номера журнала успели выпустить. Неизвестными путями журнал попал к инспектору училища Городскому, начались вызовы, допросы».

А в училище в самом деле давно косились на Митяя сам инспектор Городский и поп Александр. Это были черствые люди, которые ненавидели детей и работали в училище ради заработка. Они давали ученикам прозвища и обидные клички.

Первое столкновение Митяя с инспектором училища произошло так. Городский, находясь в классе, послал Фурманова узнать, почему не явился на уроки Сережа Приказчиков. Митяй выполнил поручение и, вернувшись в класс, сообщил:

— Сережа сидит на кровати и играет с котятами.

В классе раздался дружный смех. Инспектор расвирепел:

— Вон из класса, шалопай! — заорал он.

Фурманов был вынужден удалиться.

Инспектор любил помучить учеников и придумывал для них самые нелепые задания. Городский заставлял учеников перекладывать во дворе

поленницу дров с одного места на другое. Это вызвало законный гнев учащихся.

Неизвестно, сколько времени продолжались бы «забавы» инспектора, но вдруг в костромской газете появилась о нем едкая заметка. Инспектор взбесился и первое, что он предпринял, — вызвал Фурманова.

— Ты писал, скат-тина?! — багровея от ярости, кричал Городский.

— Ничего я не писал, Александр Васильевич, — спокойно ответил Фурманов.

— Убирайся вон! — кричал инспектор. — Я все узнаю, тогда не сдобровать тебе!

Позднее выяснилось, что Городский ездил в Кострому выяснять личность автора заметки, но вернулся оттуда не солоно хлебавши.

Были у Фурманова неприятности и с попом Александром. Митяй не любил закон божий. Поп, видя это, не раз делал внушения нерадивому ученику. Однажды произошел такой случай. На первой неделе поста всех учеников отправили в церковь на исповедь к попу Александру. Когда очередь исповедоваться дошла до Митяя и Сережи Приказчикова, они скрылись, за что на следующий день их распекал все тот же Городский.

Переходя из класса в класс с хорошими оценками, Фурманов особенно пристрастился к литературе. Он увлекался чтением фантастических романов Жюль Верна, Майн-Рида, Конан-Дойля.

Жизнь шла своим чередом. Но вот наступил 1905 год. Весной в Иваново-Вознесенске развернулись бурные революционные события.

С 12 мая в городе началась всеобщая политическая стачка текстильщиков, которая длилась 72 дня. По улицам города с красными знаменами шли рабочие, поднявшиеся на борьбу с самодержавием.

Революционные текстильщики собирались в лесу, на реке Талке. Был создан первый общегородской Совет рабочих депутатов в стране.

По воле революционных ткачей Талка стала социалистическим университетом для десятков тысяч рабочих и вошла в сознание целых поколений, как одна из самых ярких страниц генеральной репетиции рабочего класса на путях к Великому Октябрю.

В. И. Ленин дал блестящую оценку событиям, происходившим в крае текстильщиков. Осенью 1905 года он писал:

«Иваново-Вознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих. Брожение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно усиливаясь и расширяясь после этой стачки. Теперь это брожение стало выливаться наружу, стало превращаться в восстание»<sup>1</sup>.

Руководили всеобщей стачкой текстильщиков испытанные в классовых боях большевики: профессиональный революционер Федор Афанасьевич Афанасьев (Отец), Семен Иванович Балашов и совсем молодой в то время Михаил Васильевич Фрунзе. Город во время стачки походил на вооруженный лагерь. Всюду рыскали царские ищейки, казацкие сотни и полицейские наряды. Оголтелые черносотенцы зверски расправлялись с рабочими.

Но ничто не могло сломить волю текстильщиков. Почти два с половиной месяца они не прекращали стачку, которая вошла славной страницей в историю революционной России.

Отец Дмитрия Фурманова, Андрей Семенович, стоял в стороне от этих бурных событий. Он не присоединился ни к одной из борющихся сторон и старался изолировать свою семью от политической борьбы, вспыхнувшей в городе. Но как можно уберечь от влияния развернувшихся событий такого любознательного, на все реагирующего подростка, каким был Дмитрий! Не осмысливая сути происходящей борьбы, он успел послушаться революционных песен, запомнить их мелодии и слова.

В один из майских дней 1905 года многие ученики явились в училище чем-то возбужденные. Учебные занятия были сорваны. Ребята ходили из класса в класс и таинственно всех предупреждали:

— Будьте готовы. За нами заходят торговая школа и реальное училище. Все вместе тронемся на улицу.

Услышав это, Митяй побежал по классам и повторял только что услышанные слова, сказанные с большой опаской, но не без гордости и смелости.

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 11, стр. 314.

Ребята были взволнованы, они то и дело выбежали на улицу или смотрели в окна. Но встреча с учениками торговой школы и реального училища так и не состоялась. Кто-то помешал этому. Педагоги с большим трудом усадили учеников за парты.

Потом вместе с Сережей Приказчиковым и Сашей Киселевым Митяй бегал на речку Талку, на берегах которой собирались тысячи рабочих. С каким глубоким вниманием слушал он речи ораторов! Эти горячие, волнующие выступления, идущие от самого сердца, навсегда оставили след в памяти Митяя. Не разбираясь в то время в сущности этих речей, он, однако, чувствовал, что совершаются какие-то важные события. С тех пор Митяй повзрослел, стал серьезнее. Легкокрылая пора детства кончалась.

Тринадцатилетний Митяй смутно ощущал, как в душе его стали созревать новые чувства и появлялись новые настроения. Потом, в 1917 году, в его сознании оживут события на Талке, он вспомнит пламенные речи ораторов, которыми, как он записал в свой дневник, заслушивался «12 лет назад». А еще позднее он опять вернется к этим событиям и напишет о них два ярких очерка: «На Талке» и «Как убили «Отца»».



## Гроза

Дмитрию Фурманову шел четырнадцатый год, когда он окончил городское шестиклассное училище. Родители задумались: какова будет дальнейшая судьба их сына? Им хотелось устроить подростка в такое учебное заведение, по окончании которого он мог бы самостоятельно добывать кусок хлеба. Вот тогда-то и решили они определить Митяя в Иваново-Вознесенскую торговую школу. В это учебное заведение, выпускавшее бухгалтеров для промышленных предприятий, Дмитрий Фурманов шел без желания: с детских лет он мечтал стать поэтом, а тут вдруг надо будет заниматься бухгалтерскими расчетами.

Учитывая трудное положение семьи, Дмитрий скрыл свою неприязнь к торговой школе. С осени 1905 года он должен был приступить к занятиям. Дмитрий надеялся, что скоро будет помогать семье. До начала учебы ему предстояло хорошо отдохнуть. Как он обрадовался, когда в конце июня старшая сестра, Соня, предложила съездить в Середу, повидать подруг и родные места!

В Середу поехали втроем: он, Соня и младшая сестренка Лиза. Там они нашли приют в домике фабричного сторожа Мастерова. О прибывших гостях из Иваново-Вознесенска скоро узнали друзья детства Фурмановых.

Наговорившись после долгой разлуки, они условились на следующий день пойти в лес за грибами. Рано утром подростки быстро собрались, взяли корзинки и узелки с завернутыми в них серыми колобками, солодовыми лепешками и черным хлебом с солью. День обещал быть благоприятным для прогулки. Лучи солнца заливали большое село, корпуса фабрик и темно-зеленые еловые массивы, окружавшие Середу. Беззаботная ватага грибников двинулась в путь.

В лесу все разбрелись. Изредка раздававшееся «ау» не давало им потерять друг друга.

Когда грибники собрались вместе, чтобы идти домой, стало темно, и только ослепительные молнии озаряли деревья. Гроза грянула сильная. Невдалеке с треском упало дерево. Друзья забежали в домик лесника.

Но вот небо совершенно очистилось, и только крупные капли, осыпавшиеся с ветвей деревьев, напоминали о прошедшей грозе.

Выйдя на опушку леса с полупустыми корзинками, грибники увидели родное село. Митяй, самый молодой в этой компании, оказался наблюдательнее своих друзей. Заметив около одного дома столпившихся людей, он сказал:

— Посмотрите, что-то случилось.

Они бросились бежать к месту происшествия. Митяю удалось проникнуть в дом. Войдя, он увидел рабочих, очень усталых на вид и необыкновенно возбужденных. Некоторые из них, заглядывая под широкую скамью у стены, кричали:



— Выходи по доброй воле, а то хуже будет!

— Да чего им любоваться, дайте-ка мне кочергу! — рабочий, который произнес эти слова, сам взял кочергу и стал ею шарить под лавкой. Скоро оттуда показался усатый человек в полицейской форме.

— Что, голубчик, попался! — кричали рабочие. — Не все коту масленица!..

Митяй быстро сообразил, что в Середи происходят те же события, что и в Иваново-Вознесенске. Уходя со своими товарищами от места происшествия, он сказал:

— Вот это гроза! Настоящая...

Не успел Митяй закончить фразу, как из-за дома выбежали несколько черносотенцев с трехцветным царским флагом. Они ринулись на выручку полицейского. Послышались крики, началась свалка, в которой рабочие изорвали царское знамя. Вдали показались вооруженные солдаты.

Испуганные грибники разбежались по своим домам. Ранним утром в дом Мастеровых постучалась Катя Рубцова. Она плакала. Митяй сквозь сон услышал ее рыдания. Около Кати уже стояла Соня, которая пыталась успокоить подругу.

Ночью арестовали отца Кати. Дмитрий утешал девушку.

— Не волнуйся, Катя, отец скоро вернется... Посмотрела бы ты, что делается в Иваново-Вознесенске!..

В этот день все узнали, что в рабочих семьях произошли обыски, а на станцию был подан товарный состав для арестованных. Дмитрий ходил вместе с ребятами и девочками на станцию. Они видели, как полицейские и солдаты сажали рабочих в вагоны. Когда повели Рубцова, Катя в отчаянии закричала, залилась слезами, рванулась к отцу, но полицейский грубо оттолкнул девушку. Рубцов, заметив плачущую дочь, махнул ей рукой и, гордо вскинув голову, крикнул на прощание:

— Мы еще вернемся, дочка!

Через несколько дней после этих событий Дмитрий с сестрами возвратился из Середы в Иваново-Вознесенск. Он казался еще более повзрослевшим. Дмитрий уединялся, много читал. Иногда он сочи-

нял стихи, недовольный ими, безжалостно рвал рукописи, однако снова брался за перо.

С осени Дмитрий пошел учиться в торговую школу. Здесь встретил он новых друзей, с которыми откровенно делился своими мыслями и мечтами. Таким другом стал у Фурманова Миша Колосов, коренастый и широкоплечий подросток, пришедший в торговую школу так же, как и Фурманов, не по призванию, а из-за жизненных затруднений.

Миша Колосов учился с Фурмановым в одном классе. Дмитрию очень нравилось то, что Миша интересуется литературой. Они говорили о Пушкине, Некрасове, Никитине, Кольцове и других русских поэтах, читали друг другу стихи. Мише Колосову иногда удавалось раздобыть тексты революционных песен рабочих, и он обычно спешил поделиться ими со своим новым товарищем.

День за днем шли занятия в школе. Дмитрий по-прежнему прекрасно учился, однако был убежден, что счетно-финансовые премудрости не его доля. Зато какое волнение испытывал он на уроках литературы! Старый учитель Афанасьев восторгался начитанностью Дмитрия, его сочинениями, которые были образцовыми, и часто читал их вслух.

Однажды Миша Колосов дал Фурманову почитать свое сочинение и попросил написать отзыв. Фурманов выполнил просьбу, написав следующее: «Сочинение вполне удовлетворительное. Избегай повторений — для этого разграничивай в сочинении резкими чертами отдельные этапы. Лучше начинать последующую часть с того, на чем кончилась предыдущая, — этим достигается логическая последовательность, полнота и красота сочинения. Импровизация большей частью не всесторонне охватывает предмет разбора, и потому лучше перед самой работой намечать себе план — не обширный, но точный и по возможности полный».

Михаил Платонович Колосов, старый коммунист, ныне персональный пенсионер, нередко вспоминает, как Дмитрий Фурманов научил его любить книгу и ценить русскую литературу. Под влиянием Фурманова Михаил Платонович впоследствии бросил работу счетовода в конторе и посвятил себя библиотечному делу.

Сам Фурманов увлекался поэзией. Он не только писал стихи, но и умел читать их с большой выразительностью. В торговой школе не проходило ни одного вечера, на котором бы Митяй не выступал со стихами. Все, кто его слушал, восторгались юным чтецом. Нередко было так: Фурманов выступал со стихами всем известных поэтов, а потом к нему подходил кто-нибудь из товарищей и говорил:

— Молодец, Митяй! Ты прочитал сегодня стихотворение, и мне показалось, что я слышу его впервые.

Дмитрий любил стихи Некрасова. Читая о народном горе, он воспламенялся: карие глаза загорались огнем, щеки пылали, в голосе звучал переживаемый чтецом гнев. Иногда самые обычные стихи о природе приобретали в его чтении какое-то особенное звучание и символический смысл. Так было со стихотворением Тютчева «Люблю грозу в начале мая». Это стихотворение ему особенно понравилось, и он часто декламировал его друзьям.

---

## Первая любовь

Чем дальше Дмитрий находился в торговой школе, тем сильнее росло чувство неудовлетворенности и желания бежать оттуда.

Бухгалтерская наука совсем его не устраивала, и не столько, может быть, сама бухгалтерия, сколько мрачная перспектива подсчитывать доходы тех, кто жил в каменных особняках, разъезжал на тройках с бубенцами, носил фраки и цилиндры и высокомерно плевал в лицо всем, кто нерадиво служил их прихотям.

— Убегу без оглядки, — не раз признавался Фурманов Мише Колосову.

— Полно, не бунтуй, — успокаивал Миша, — живая душа и в аду не погибнет. А я вот тебе принес «Песенник»!

— Мера за меру! — с восторгом сказал Дмитрий. — Идем под лестницу, что я тебе прочитаю!

Миша и Дмитрий шли под широкую массивную лестницу. Над их головами со звоном дрожали резные металлические ступени, по которым вниз и вверх с шумом и выкриками носились питомцы торговой школы. Однако Дмитрий, отвлекаясь от всего на свете, с жаром читал приятелю новые стихи:

Горит долина Ронсенваля,  
Колелет крепость франкских войск,  
И вот уж туча громовая,  
Над войском Карла пролетая  
Гремит... Обрушиться грозит...

Оказывается, пока учитель литературы давал на уроке анализ «Песни о Роланде», Фурманов написал об этом стихи, а в перемену спешил прочитать их Мише.

Дмитрию было невыносимо скучно слушать уроки о составлении финансовых балансов. И только при чтении книг загоралась его юношеская душа.

Ему было до слез обидно, что он бессмысленно теряет годы. Понимали это и его родители, которые совсем не хотели огорчать сына, но не знали, как помочь ему выбрать в жизни желанную дорогу.

В июне 1908 года Дмитрий окончил торговую школу, но пальцем не шевельнул для того, чтобы воспользоваться приобретенной профессией. Первое, что он сделал, — откровенно сказал отцу, что хочет учиться, и, не встретив возражений, стал лихорадочно готовиться к экзаменам в Иваново-Вознесенское реальное училище. Экзамены он должен был сдавать экстерном.

Фурманов не попал в училище. Но, к чести Дмитрия, надо сказать, что жизненные неудачи никогда не обескураживали его и не приводили к отказу от намеченной цели. Наоборот, он становился собраннее и с еще большим рвением принимался за дело.

Потеряв надежду поступить в Иваново-Вознесенское реальное училище, Дмитрий решил в будущем году держать экзамен в Костроме. Он был согласен жить вдали от родного дома, подрабатывать на питание, лишь бы учиться.

Наступила глубокая осень, сырая, липкая, с оголенными деревьями и заунывной песней ветров. Осеннее ненастье особенно удручало жителей города. Убогие лачуги сиротливо жалась друг к другу,

словно боясь утонуть в грязи. К тому же трудно было дышать: утренние белесые туманы густо смешивались с гарью, извергаемой десятками фабричных труб.

И все же эта ненастная осень 1908 года запомнилась Фурманову навсегда одним ярким событием, которое в течение ряда лет волновало его молодое воображение.

Как-то раз в один из сумрачных дней он проходил по Негорелой улице и вдруг увидел около пожарного депо девушку.

Она была одета в легкое темно-синее пальто с узкой меховой горжеткой. Из-под шляпы выбились завитки темных волос. Голубые глаза смотрели спокойно. Лицо ее привлекало горделивой красотой. Дмитрию захотелось познакомиться с девушкой, однако он не решился к ней подойти. Видел он ее после этого еще несколько раз.

В канун нового 1909 года Дмитрий встретился с незнакомкой и подружился с нею. Девушку звали Наташа. Она была дочерью брандмейстера, училась в гимназии. Дмитрий стал посещать дом брандмейстера.

Отец Наташи Соловьевой не стеснял дочь, когда к ней приходили юноши и девушки, составившие, надо сказать, дружную компанию. Дмитрий оказался мастером на все руки. Если один из товарищей Наташи умел петь, другой — играть на гитаре, третий — декламировать, то Фурманов скоро заслужил славу и певца, и гитариста, и декламатора. Он был душой многих увлекательных вечеров, проходивших в доме брандмейстера.

Однажды Дмитрий предложил поставить комедию «Недоросль» и взялся сыграть роль госпожи Простаковой. Спектакль проходил в сарае, на него могли попасть все желающие. Дмитрий так комично играл мать Митрофанушки, что хохотали не только зрители, но и участники спектакля.

Фурманову шел девятнадцатый год. Он был бодрым, здоровым, веселым юношей. В своих суждениях по самым различным вопросам он отличался принципиальностью, не терпел лжи и лицемерия.

Наташу часто посещала ткачиха с фабрики Гарелина Тоня Зуева. Она обладала чудесным голо-

сом. Дмитрий обычно аккомпанировал ей на гитаре.

В дом Соловьевых приходил молодой приказчик Трифон Мельников. Он гордился своими родственными связями с одним из иваново-вознесенских мануфактурных тузов. Одевался Трифон с претензией. Он носил дорогой фрак из кастора, лакированные черные полуботинки. «Бабочка» подпирала его не по годам жирный подбородок.

Мельников был влюблен в Наташу, ухаживал за ней, но получалось это очень смешно и нелепо. Дмитрий не считал Трифона соперником и нередко просто удивлялся тому, что могло быть общего между приказчиком и Наташей. Вот с этим-то Трифоном и случился скандал.

Однажды Тоня исполняла под аккомпанемент гитары песню на слова Некрасова «Что ты жадно глядишь на дорогу...». Все дружно аплодировали девушке и хвалили ее голос. Только один Трифон, развалившись на кушетке, сказал:

— А голос Наташи звучит куда приятнее!..

Фурманов взглянул на Тоню. Ее утомленное лицо стало еще бледнее. Она покачнулась от слабости, боясь упасть, поспешила сесть в кресло. Обратившись к Трифону, Дмитрий едко заметил:

— Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна... Да знаете ли вы, что у Наташи вообще нет никакого голоса, если говорить правду?

— Это мое личное мнение,— отпарировал Трифон.

— Личное мнение может быть и у сумасшедшего,— сказал Фурманов.— Но ведь от этого не поживится голос у Наташи, которой вы так беспардонно льстите.

— Я оскорблен,— заявил Трифон.

— Дуэлей теперь не существует,— смеясь, заметил Дмитрий.

— Но есть полицейские участки! — надменно выпалил Мельников.— Они отрезвляют горячие головы лучше, чем дуэли.

— Вот как! — воскликнул Фурманов.— От недостатка ума вы пугаете полицией!

Он весь вспыхнул, вскочил со стула и горячо заговорил:

— Знаете ли вы, сударь, что, если бы Тоня имела возможность учиться в консерватории, ее голос был бы достоин сцены Большого театра? Но она чахнет около пыльных станков, и никто не думает о ее судьбе. А сколько таких несчастных девушек гибнет! Если мои слова достойны внимания полицейского участка, сделайте милость, доложите туда...

Неизвестно, чем бы кончился этот скандал, если бы Наташа не поспешила замять его. Она, улыбаясь, сказала:

— Будет вам ссориться. А ты, Трифон, тоже хорош: в полиции меня не научат петь, если я уродилась без голоса.

Все рассмеялись, а Трифон просто растаял, видя обращенную к нему улыбку Наташи.

Так проходили вечера в доме Соловьевых — с шутками, песнями, декламациями и довольно острыми разговорами.

Дмитрий, влюбленный в Наташу, все же не мог не подметить у девушки такие черты характера, как необузданная гордость и стремление жить помещански, отгородившись от общественных волнений.

Фурманову тогда казалось, что он сумеет повлиять на Наташу и они пойдут одним путем. Долгими вечерами просиживали они за книгами, читая вслух повести и романы русских писателей. Особенно их волновали произведения Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». Эти книги настолько им понравились, что они прочитали их дважды.

— Чувствуешь, Наташа, каким чистым, прекрасным языком написаны романы? А Фленушка! Какая это сильная натура! — говорил Дмитрий.

Фурманову нравилась в Наташе ее любовь к книгам, но между ними и в этом была глубокая разница. Он искал в литературе ответа на многие волнующие его вопросы, стремясь понять причины тех несправедливостей, которые так часто встречал в жизни. Между тем Наташа была далека от этого, она читала книги бездумно.

Как-то Дмитрий пришел к Наташе особенно взволнованный, и по выражению лица его было видно, что он хочет сообщить девушке что-то новое и интересное. Он сел около окна и сказал:

— А ты знаешь, какие чудесные стихи я прочитал сегодня! Это просто замечательно! В каждой строчке чувствуется любовь к народу.

— Ты знаешь, что я не особенно люблю стихи,— ответила Наташа.— Однако, если верить твоим словам, стихи хорошие. Они с тобой?

— К сожалению, нет, но отдельные строчки я запомнил сразу.

Наташа молчала. Дмитрий ждал, что девушка заинтересуется стихами. Он сказал:

— Ты послушай, я прочитаю,— и стал декламировать:

Как дело измены, как совесть тирана,  
Осенняя ночь темна,  
Темнее той ночи встает из тумана  
Видением мрачным тюрьма.

— Очень грустно,— заметила Наташа.

— Да, грустно,— ответил Дмитрий.— И в этих тюрьмах сидят хорошие люди. Ты знаешь, я давно хотел с тобой поговорить. Не поехать ли нам в Сибирь? Мы с тобой люди грамотные и могли бы принести много пользы...

Наташа молчала. Порыв друга не находил в ее душе отзвука.

— Эх, как хотел бы я приблизиться к этим людям, но как это сделать, не знаю сам! — с жаром произнес Дмитрий.

Чем чаще он встречался с Наташей, разговаривал и откровенничал с ней, тем больше сомневался в счастливом исходе этих встреч. Где-то в глубине души он все больше понимал, что Наташа далека от его взглядов на жизнь. Но может быть, именно это и толкало его с неудержимой настойчивостью постоянно искать повод для новых встреч.

Ему представлялось тогда, что на девушку можно оказать влияние, сделать ее настоящим другом, идти с ней рука об руку по жизни. Дмитрий любил Наташу пылко, романтически, и все теневые стороны ее характера тотчас же исчезали, озарялись светом, как только он начинал мысленно представлять себе ее облик или спешил к ней на свидание.

Но Дмитрий не принадлежал к тем бездумно влюбленным юношам, которые ради любви готовы были пожертвовать всеми своими прежними меч-



тами и надеждами. А в ту пору он неумолимо рвался к учебе и мечтал стать поэтом.

В мае он выехал в Кострому, чтобы сделать еще одну попытку сдать экзамены в реальное училище. Экзамены он сдал, вернулся в Иваново-Вознесенск, и снова начались встречи с Наташей, овеянные лучами радужных надежд.

Но вдруг новый удар: из Костромы пришло известие, что Фурманову отказано в приеме в реальное училище по формальным соображениям.

«Эти неудачи,— писал в своих воспоминаниях старший брат Фурманова,— не сломили у него желания учиться, но заставили задуматься над материальной стороной — отцу было очень трудно всех нас учить и еще платить за подготовку Митяя репетитору. И вот, когда... он рассказал отцу о своей неудаче, тот, как бы читая его мысли, сказал: «Ничего, сынок, два раза мы постучали, нам не открыли дверь, постучим еще разок — может быть, откроют?»»

Видя, что сыну тяжело, отец решил помочь ему и обратился с заявлением к попечителю Московского учебного округа с просьбой принять Дмитрия в пятый класс Кинешемского реального училища.

В августе Дмитрий выехал в Кинешму сдавать экзамены, а в сентябре получил оттуда положительный ответ. Радости не было конца!

---

## На Волге

Путь от Иваново-Вознесенска до Кинешмы недалек. Через два с половиной часа поезд примчал Фурманова в город на Волге, с его крутыми откосами улиц, спившимися босяками, расфранченными купчихами, каменными лабазами и торговыми рядами с белой колоннадой.

Кинешма резко отличалась от Иваново-Вознесенска своим внешним видом.

Там, в промышленном городе, все как-то смешивалось в одну безалаберную кучу и трудно было

даже определить, где находится центр города. Фабрики, богатые особняки фабрикантов маячили в море стареньких, покосившихся хибарок текстильщиков, образующих карикатурное подобие улиц.

Здесь, в торговом городе, купцы строились на европейский манер. Их особняки с архитектурной лепкой и магазины с чугунными ставнями теснились к высокой набережной великой русской реки.

В первые дни пребывания в Кинешме Дмитрий долго бродил по городу, словно торопясь наглядеться на все, что ему казалось новым, неизведанным. По воскресеньям он часами прогуливался по набережной Волги. Увлекала Дмитрия и пестрая толпа людей, выходявших показать себя в воскресные дни. Кого только тут не увидишь, чему не удивишься!

Вот в поэтической беседке, стоящей у крутого обрыва, изысканный щеголь в цилиндре и с тросточкой рассыпается в любезностях перед кокетливой купеческой дочкой. Вот не шагают, а словно плывут степенные купцы в долгополых пиджаках и в сапогах гармошкой, пахнущих нафталином и дегтем, и тут же надменно выступают франты, от которых веет запахом парижской парфюмерии.

Именно здесь, в Кинешме, великий драматург Островский наблюдал людей, которых показал в своих произведениях, здесь услышал он многое, что легло в основу его бессмертной «Бесприданницы», и Дмитрий мог не на сцене, а в жизни увидеть и молодящуюся вдову Огудалову, и ловкого дельца Кнурова, и представителя богатой торговой фирмы Вожеватова с претензией на европейский шик, и небогатого чиновника Карандышева, который из тщеславия наклеивает к бутылкам дешевого вина фальшивые этикетки. Словом, Дмитрий вдоволь нагляделся на людей, представших в пьесах Островского. Эти новые впечатления еще больше усиливали в нем неприязнь к богатым, к их ложной набожности, бесстыдному стяжательству.

Но прогулки по городу скоро наскучили. Единственное, что без конца волновало, будило мысли,— это Волга с ее живописными берегами. И Дмитрий шел к набережной, предаваясь своим раздумьям.

В ту пору раздумья одолевали его больше, чем прежде. Он был на два-три года старше своих одно-

классников по реальному училищу, много читал, стараясь взять из книг все лучшее.

С товарищами он не искал быстрого сближения, как бы изучая их со стороны. Таков уж у него был характер. Дмитрий не сразу завязывал дружбу, зато редко ошибался в друзьях.

Порядки в реальном училище пришлись его свободолюбивой душе не по вкусу. Он не мог равнодушно переносить чиновничество, ложную парадность и с первых дней почувствовал отвращение к «благодетелям» из рода миллионщиков Коноваловых.

Кинешемское реальное училище, куда пришел Дмитрий Фурманов осенью 1909 года, носило имя Ивана Коновалова. Это был один из крупнейших владельцев текстильных фабрик России. Он управлял предприятиями вместе с сыном Александром, впоследствии ставшим министром во Временном правительстве Керенского. Коноваловы владели фабриками и в Кинешемском уезде. Крупнейшее их предприятие находилось в Вичуге, а громадные по тем временам торговые склады Коноваловых были в Москве, Нижнем Новгороде, Харькове, Коканде, Ташкенте и других городах Российской империи. Коноваловы, однако, играли в либерализм, бросали мелкие подачки рабочим и жертвовали средства на строительство благотворительных учреждений.

Когда Дмитрий Фурманов вместе с одноклассниками в сопровождении надзирателя первый раз вошел в актовый зал Кинешемского училища, его взгляд невольно остановился на двух портретах в позолоченных, резных рамах. Художник изобразил отца и сына Коноваловых.

— Вот наши попечители и благодетели! — внушительно произнес надзиратель.

Но Фурманов безучастно смотрел на портреты фабрикантов. Выйдя из училища, он тут же забыл о своих «благодетелях» и отправился одиноко бродить по городу.

Один из близких друзей Митяя по реальному училищу, Михаил Порфирьевич Сокольников, ныне известный советский искусствовед, дал меткую характеристику той обстановки, в которую попал Фурманов.

«Наше восприятие жизни,— пишет М. П. Сокольников,— ограничивалось стенами училища... Вспоминаю унижительную опеку со стороны классных надзирателей, которым вменялось в обязанность посещать квартиры учащихся. В первую очередь под такой надзор попадали «нахлебники», т. е. те, кто жил на частных квартирах. К таким ученикам принадлежал и Фурманов, не имевший в Кинешме родственников и снимавший комнату со столом в чужих семьях. Надзиратели под предлогом проверки поведения питомцев рылись в книгах и тетрадях, допытывались, каких авторов читает «нахлебник», кто его товарищи и куда он ходит. Из нас основательно стремились сделать «верноподданных», пытаясь пресечь возможную «крамолу» в зародыше.

Дыхание общественной жизни страны проходило мимо нас, мы были полностью изолированы от нее, и естественно, что атмосфера мещанства и обывательщины обволакивала наши души.

А ведь вокруг Кинешмы, да и в самом городе было много фабрик и заводов, нарастало рабочее движение, но «стена режима» прочно отгораживала нас от жизни народа».

М. П. Сокольников рассказывает, какое впечатление на учащихся произвел Митяй. «В замкнутую обстановку реального училища Фурманов ворвался как свежий ветер, как порыв лучших устремлений молодости. Этот крепкий юноша, с копной красивых каштановых волос, с глубокими карими глазами, весь как-то светился. Был Митяй всегда подтянут, опрятно одет,— и я сейчас ясно вижу, как он прочно, крепко держит правую руку за широким ремнем своей куртки, как энергична его походка, как высоко поднята грудь, как горит,— да, да,— именно горит его лицо. Я не помню унылости, скуки, усталости на лице Фурманова: оно всегда полно было бодрости, живости, кипучести его натуры. В нем бурлили большие внутренние силы, шла постоянная работа мысли, сверкали чистые человеческие чувства...»

Юношей, полным жизни, свободолюбия и страсти к полезной деятельности, пришел Митяй в реальное училище. Но неумолимая «стена режима»

коснулась его с первых дней. Попади он в то время в обстановку революционного подполья или просто к революционно настроенным рабочим — какая это была бы находка! А здесь, в реальном училище, под неусыпным контролем надзирателей и попов трудно было проявиться тем качествам, которые таились в его характере.

На первых порах Дмитрий устроился жить на квартире делопроизводителя реального училища Птицына. Здесь оказалось много неудобств: общая комната, крик малолетних детей, экономия хозяина квартиры на керосине. Все это не давало возможности всерьез сосредоточиться над книгами или над осуществлением литературных замыслов. Дмитрий вскоре перебрался в дом Гаврилова, на Солдатскую улицу.

Дом Гаврилова находился на спуске крутой горы, примыкающей к привокзальной площади. Здесь Фурманов получил отдельную комнатку, напоминающую скорее чулан, размером полтора на два с половиной метра. Но как обрадовался он этому уединенному уголку, где можно было при свете керосиновой лампы сидеть до полуночи за крошечным письменным столиком, принимать друзей, писать новые стихи! Комнатку он украсил портретами писателей. Много было снимков Льва Николаевича Толстого. Кроме маленького столика в комнатке стояли почти детская, короткая кровать и две табуретки. Обстановка самая неприветливая, зато какой великолепный вид открывался из окна! Крутой склон, казалось, мог превратиться в бездонную пропасть, если бы ему не преграждала путь могучая иссиня-черная стена соснового бора, омываемого широкой голубой лентой реки.

Дмитрий, с младенческих лет полюбивший природу, остался очень доволен выбором новой квартиры, к тому же хозяин дома не только ничем не стеснял его, а всегда был общителен и приветлив. Когда к Дмитрию являлись разом несколько друзей и им негде было повернуться, хозяин любезно отдавал в их распоряжение просторную горницу «на своей половине».

Живя в доме Гаврилова, Дмитрий проникся уважением к хозяину, Василию Илларионовичу. Не-

редко они задушевно беседовали. Однажды Василий Илларионович, вернувшись с работы усталым, зашел в комнатку Фурманова и сказал:

— Удивительное дело: как только требуется монтировать машины, фабриканты приглашают английских или немецких специалистов! Неужели русские не могут этому научиться?

— Не учат,— ответил Дмитрий.— Если русских научить, они превзойдут иностранцев.

В другой раз Василий Илларионович, отличавшийся антирелигиозными взглядами, решил поговорить со своим юным квартирантом. Начал он разговор так:

— Сегодня я видел отца Ивана. Идет он по Кинешме, как апостол, с крестом на груди. А ведь греховодник какой этот батюшка!..

На это Дмитрий ответил:

— Все они греховодники. Я перестаю верить их евангельским сказкам. Вот уже две недели, Василий Илларионович, я больше не ношу крест, сбросил навсегда. Не хочу носить его, не хочу!

Гаврилов одобрительно улыбался.

Неприятнь к отцу Ивану, преподававшему в училище закон божий, Фурманов почувствовал с первых же дней учебы. Быстро запоминая бредни, преподносимые отцом Иваном, он отвечал на уроках бойко, и поп никак не мог занижать оценки способному ученику. Отец Иван заметно нервничал, когда Фурманов задавал ему вопросы.

— Видел ли кто бога? Почему бог, всеведущий и всемогущий, не может накормить всех голодных? — спрашивал ученик. Слушая это, отец Иван смотрел на Фурманова исподлобья и раздраженно говорил:

— Ты лучше помолчи!

По воскресным и праздничным дням реалистов вели парами на богослужение в собор. Фурманов, рискуя быть наказанным, старался ускользнуть от зорких глаз надзирателя и не пойти на молебен. Если же ему не удавалось по дороге спрятаться за какими-нибудь воротами, то во время богослужения Дмитрий жаловался на головную боль и его отпускали домой.

В Кинешме Дмитрий много читал. Теперь он нуждался в единомышленниках, мечтал организо-

вать литературный кружок. Такие люди в училище нашлись. С Фурмановым подружились Шура Львов, Вася Недопекин, Коля Бобыльков и другие.

Следует заметить, что Фурманов не стремился сделать кружок слишком многолюдным. В кружок принимались только те, кто знал сочинения Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова и Горького. Поэтому их беседы всегда были интересны и остры.

Не все кружковцы занимались творчеством. Некоторые из них были просто увлечены литературными спорами о стихах Некрасова, о романе Чернышевского «Что делать?», о философских взглядах Льва Толстого.

Кружок носил полулегальный характер. Его участники собирались обычно в маленькой комнатке Дмитрия. До надзирателей реального училища дошли слухи о том, что у Фурманова собираются реалисты и просиживают иногда за полночь. Кинешемские беликовы не раз заглядывали в окошко к Дмитрию. Кружковцы это заметили и стали собираться в большой комнате Василия Илларионовича.

Они выпускали рукописный журнал, обложка которого украшалась разными виньетками. В журнале было много рисунков. Кружковцы часто критиковали нелюбимых учителей, относившихся к преподаванию по-казенному. Одним из таких наставников был химик Ладухин, грузный, пожилой мужчина. Ладухин вел преподавание казенно, не отрывая глаз от учебника. Он грубо обращался с учениками. Особенно Ладухин ненавидел Фурманова за его живой, светлый ум и острые вопросы. Как-то на литературном кружке Коля Бобыльков, сухонький, высокий паренек родом из Юрьевца, предложил высмеять Ладухина в журнале. Кружковцы охотно откликнулись на это предложение. Бобыльков заявил:

— Хотите, я это сделаю?

— Делай, — сказал Дмитрий, — да постарайся как следует промыть ему голову, пусть все о нем прочитают.

В журнале появилась едкая заметка. Ладухин решил, что ее написал Фурманов. Химик долго шептался с попом Иваном, который также не любил

Дмитрия. Они решили при первой возможности отомстить Фурманову.

В Кинешме имелось еще одно учебное заведение — гимназия. Здесь устраивались вечера, на которые нередко ходили воспитанники реального училища. На одном из таких вечеров Фурманов выступил с декламацией стихов Некрасова и, как всегда, произвел сильное впечатление на слушателей.

На вечере Дмитрий познакомился с Соней Киселевой, гимназисткой шестого класса, и с ее подругой, Мартой Хазовой.

— Я слышала, вы руководите литературным кружком? Нельзя ли мне его посещать? — обратилась Марта к Фурманову. Он разговорился с Хазовой и узнал, что девушка очень любит литературу, даже пробует сочинять рассказы.

Марта стала посещать кружок. Впоследствии Марта Хазова уехала в Москву и поступила учиться на Высшие женские курсы.

Увлекаясь литературой, Фурманов постоянно интересовался театром. Кинешемский театр в те годы редко ставил пьесы Островского. На сцене появлялись пустенькие водевили, пошленькие комедии, рассчитанные на вкусы купцов.

Учащимся реального училища иногда удавалось пойти в театр. Строгое начальство запрещало им появляться на таких спектаклях, в которых содержалась хотя бы малейшая критика в адрес дворянства или буржуазии. Под страхом наказания им не разрешали смотреть драму Островского «Без вины виноватые» и драму Шиллера «Разбойники».

В день постановки драмы Островского в комнатку Дмитрия прибежали заядлые театралы, его близкие товарищи Саша Шушкин, Коля Шляпников и Саша Веселов. Они стали горячо обсуждать, как попасть на спектакль, обманув бдительность надзирателя. Фурманов пригласил в комнатку Василия Илларионовича и попросил:

— Одолжите мне сегодня на вечер ваше пальто и шапку.

— Зачем тебе? — удивился Гаврилов.

— В театр сходить.

— Вот оно что... Возьми, пожалуйста... Я нынче никуда не собираюсь.



— Вот так и пойду в театр,— повернулся Фурманов к товарищам.— Брови и губы подкрашу, и никакой надзиратель меня не узнает.

— Я тоже так сделаю! — обрадовался Шляпников.— Молодец, Митяй, хорошо придумал!

Все четверо условились, что за десять минут до начала спектакля они встретятся у театра, один из них возьмет билеты на галерку, и все будет в порядке.

Фурманов и Шляпников, одетые в большие пальто и шапки, пришли в условленное место первыми и стали поджидать товарищей. Каково же было их удивление, когда перед ними вдруг появились две женщины! Правда, Шляпников сразу смекнул, что Шушкин и Веселов, не найдя мужской одежды, оделись в женские пальто и толстые вязаные платки, позаимствовав их у квартирных хозяек.

Взяв билеты, все четверо отправились на галерку, уже заполненную зрителями, среди которых можно было заметить таких же ряженных, как они. Начало спектакля затягивалось. На галерке было душно, жарко. Саша Веселов, одетый в теплое женское пальто и шерстяную шаль, с отчаянием признался товарищам:

— Не могу больше, вспотел ужасно, все тело мокрое!..— Он сбросил с себя шаль и пальто и предстал перед окружающими в форме реалиста.

Послышались хохот, аплодисменты, свист. Чувствуя, что вся эта история не предвещает ничего доброго, Фурманов решительно сказал Веселову:

— Иди домой, а то подведешь нас. Видишь, сюда уже спешит надзиратель.

Под хохот и гиканье Веселов исчез с галерки.

Авторитет Фурманова в реальном училище, особенно среди одноклассников, рос с каждым днем. Друзей у Дмитрия становилось все больше. Но вскоре у него появился еще один чудесный друг, ему он доверял самые сокровенные тайны своей души и никогда с ним не расставался. Таким другом стал его дневник.

Дневник Фурманова характерен страстным изложением личной судьбы. Его дневниковые записи — это горячая, задушевная и в то же время суровая и

самокритичная исповедь человека, который многие годы находился в мучительных поисках истины, ошибался, терпел неудачи, но никогда не отказывался от благородной цели — найти правильный путь в жизни, каких бы личных жертв это ни стоило.

Его первая дневниковая запись словно навсегда определяла роль друга, с которым он не расставался до последнего дыхания.

24 июня 1910 года Фурманов записал:

Я ждал тебя, и ты пришел,  
Теперь мне есть кому открыться...

А потом мелким, красивым почерком излагались переживания, связанные с надеждами и юношескими страстями, с думами о прочитанных книгах и чувствами к Наташе Соловьевой, с радостями и печальми.

26 июня 1910 года он пишет:

«На свое будущее я смотрю очень и очень спокойным взглядом: меня в нем ничто не волнует особенно и не страшит. Мне думается почему-то, что я должен сделаться писателем и обязательно поэтом...»

В тот же день записано следующее:

«...Гуманизм — это направление... проникнутое уважением к человеку, к его потребностям, способностям, склонностям и т. п. и т. д. Вот именно этого-то гуманизма я и придерживаюсь: я уважаю человека, кто б он ни был, я смело могу даже сказать о себе, что «я могу полюбить даже человека единственно за то, что он беден». И это я говорю чистую правду, ничуть не рисуясь и не хвалясь своими чувствами, — я бедных люблю более, нежели богатых».

Дневниковые записи пестрят впечатлениями от прочитанных книг, дышат восторгом от вольнолюбивых героев патриотических «Дум» поэта-декабриста Рылеева, от музыки художественных образов пушкинского «Евгения Онегина», разносят животный эгоизм персонажей порнографической книги Арцыбашева «Санин» и снова возвращаются к неудержимой мечте стать поэтом. «Цель-то жизни моей, — пишет он 4 августа, — умереть над третьей строфой какого-то «крупного» творения в стихах...»

Да, с той далекой поры юности Фурманов уже не расставался со своим задумевшим другом —

дневником, вверяя ему все сокровенные думы горячего сердца. И где бы потом ни случилось ему быть — на посту секретаря губкома РКП(б) в грозные годы революции или комиссара чапаевской дивизии, смотреть смерти в лицо среди контрреволюционных мятежников в Семиречье или в творческих муках вынашивать образ Чапаева, — всюду с ним находился дневник.

...Дмитрий совсем не знал, как сложится его жизнь, что его ожидает через два-три года, и это рождало много раздумий. Вскоре он получил от Наташи радостное известие. Она собиралась учительствовать в селе Новинское, которое находилось недалеко от Кинешмы. Дмитрий не знал, что делать от счастья. Теперь каждое воскресенье он может бывать в Новинском!

---

## Изгнание из училища

Спит глубоким сном купеческий город на Волге. Только потрескивает декабрьский мороз да дует ветер, со скрипом раскачивая деревянные ставни жилых и торговых строений.

Время близится к полуночи, но за маленьким столиком при бледно-желтом мерцании керосиновой лампы все еще сидит Дмитрий Фурманов со своими книгами, читая и раздумывая о прочитанном. В такие часы ему кажется, что он без всякой усталости способен просидеть всю ночь напролет.

Бывало, Василий Илларионович наутро скажет:

— Не много ли занимаешься? Смотри, парень, наживешь чахотку.

А Дмитрий в ответ пустит какую-нибудь шутку и после гимнастики, обливания холодной водой и завтрака идет на занятия бодрый и веселый.

Конечно, ему можно было заниматься не так усердно: он обладал большими способностями, быстро усваивал все, что слышал на уроках. Но на одни способности Дмитрий никогда не рассчитывал. Он отличался врожденным трудолюбием. Это было

особенно важно теперь, когда, прожив целый год в Кинешме, он встретился здесь не только с друзьями, но и с врагами, которые в любую минуту могли ему навредить. Из преподавателей только один относился к Фурманову доброжелательно. Это был историк Иван Васильевич Голубев.

Ивана Васильевича ученики любили за его добродушный характер. Он вел себя с учениками товарищески, охотно беседовал с ними во время перемен или при встречах на улице. Спустя много лет, когда Фурманов уже умер, Голубев в своих воспоминаниях о нем писал следующее: «Реалист Фурманов был прекрасным товарищем... не по годам вдумчивым и серьезным. Бросались в глаза его наблюдательность, большая любовь к литературе, его демократические убеждения и отчасти враждебное отношение к отдельным преподавателям с буржуазными замашками и бюрократическим душком».

Большинство преподавателей видело в Фурманове крамольника, вольнодумца и смутьяна. Дмитрий и не пытался скрывать свое враждебное отношение ко всему гнилому, отживающему. Он всей душой ненавидел установившийся в училище режим. Как-то в беседе с Колей Бобыльковым он сказал:

— У нас такие порядки, что их можно сравнить только с муштрой в пору царствования Павла.

Не раз Дмитрий защищал своих друзей от нападок педагогов-чинуш, особенно от химика Ладухина и преподавателя русского языка Серафимова.

Отвечая по-прежнему гладко на вопросы попа Ивана, он старался не задавать ему встречных вопросов, однако поп косо глядел на Фурманова и как бы говорил ему своим взглядом: «Знаю я тебя, голубчик, доберусь я до тебя, сударь».

Интересен один случай из жизни Фурманова-реалиста. Преподаватель русского языка Серафимов имел одну странность: задав вопрос ученику, он вдруг становился безразличным к ответу. В больших глазах Серафимова выражалось полное равнодушие ко всему, что делалось в классе, и, казалось, грянь в это время выстрел, преподаватель все равно не выйдет из состояния глубокого безразличия. Ученики долгое время недоумевали: слушает их Серафимов или нет? Очень хотелось как-то проверить это, но

как — не знали. И вот однажды Фурманов, тоже озадаченный поведением Серафимова, рискнул. Когда преподаватель задал ему вопрос о правописании глаголов, Дмитрий стал отвечать, но, как только он и все другие ученики заметили равнодушие на лице Серафимова, понес чепуху:

— Лошади кушают сено и овес. Волга впадает в Каспийское море. Не наводите тень на ясный день.

Преподаватель оставался безучастным к столь нелепому ответу. Весь класс громко расхохотался. Только тут очнулся Серафимов и стал отчитывать учеников:

— Вы чему смеетесь? Не смейте никогда этого делать, я не потерплю. Мерзавцы!..

Дошло ли до сознания Серафимова, что Фурманов посмеялся над ним, трудно сказать. Но когда Дмитрий попал в тяжелое положение, преподаватель русского языка оказался на стороне тех, кто требовал изгнания его из училища.

Разные биографы различно излагают эпизод, связанный с исключением Фурманова из училища. Это, по всей вероятности, происходит потому, что никто из них не мог быть свидетелем совершившегося факта.

Несколько лет назад автору этой книги посчастливилось встретиться с одноклассником Дмитрия Фурманова, Николаем Васильевичем Шляпниковым, ныне пенсионером, живущим в городе Родники Ивановской области. Он сохранил в памяти тот злополучный день 11 декабря 1910 года, когда его близкому другу грозила большая неприятность. И вот что рассказал Николай Васильевич.

На первом уроке учащиеся шестого класса должны были заниматься химией. Преподаватель Ладухин вошел в класс с опозданием и, как обычно не поздоровавшись с учениками, грубо сказал:

— Берите приборы и работайте по заданной теме.

После этих слов Ладухин сел, не обращая никакого внимания на учеников, словно в классе не было ни одного человека. На столах появились колбы, мензурки, реторты.

Ученики увлеклись своим делом. За одним из столов, где занимался и Фурманов, кто-то, углу-

Д. Фурманов —  
ученик торговой  
школы.  
1906 год.



Кинешемское  
реальное училище,  
в котором учился  
Дмитрий Фурманов.





Д. Фурманов  
в Кинешме.



Д. Фурманов —  
студент  
Московского  
университета.  
1914 год.

Д. Фурманов  
с Аней Стешенко.  
1915 год.



Вам читать не приходится — Вае-  
титают газеты, походы, словно  
полосатая шарманка, все одну  
и ту же фальшивую тему о не-  
шней Благонравии... Эта тема,  
кх. усотиснула, коварная тема си-  
реком — заведе нас в Карпаты, откуда  
миллионы страдальцев вывращив  
только походу, что они — русские и  
привычки на веземому горю. Будь на  
нашем месте другой народ — погиб — дол-  
кх. михаил Изумителев с терпением русская  
судья.

Привет Никиты, Шурт, Серень, Лиз, Настя. Великий

Из письма Д. Фурманова к матери  
о лживости буржуазной печати.





Дмитрий Фурманов, его  
невеста Анна Никитична  
и старшая сестра Софья  
Андреевна.

1917 год.

РОССИЙСКАЯ  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
(большевиковъ)  
ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСКИЙ  
Губернскій Комитетъ

Наши 21 мая 1918  
N 182

У д о с т о в е р е н и е .

Пред"явитель сего товарищ ФУРМАНОВ Дмитр  
рий Андреевич действительно является Секретарем Ивано  
во-Вознесенскаго Губернскаго Комитета Российской Ком-  
мунистической Партии Большевиков, что и удостоверяется

П р е д с е д а т е л ь К-та

*М. Фрунзе*

Удостоверение Дмитрия Фурманова,  
подписанное М. В. Фрунзе.

бившись в занятия, стал потихоньку насвистывать. Ладухин вскочил со стула и с бешенством крикнул:

— Фурманов!

— Я... — ответил тот.

— Что я, что я? — рассвирепел Ладухин. — Убирайся вон из класса!

— Почему? — спокойно спросил Дмитрий.

— Ты свистел? Убирайся немедленно!

— Я не свистел, — с выдержкой заявил Дмитрий.

— Это не Фурманов свистел, — подал голос Коля Шляпников.

— Это не он! — раздалось несколько голосов сразу.

Ладухин побагровел и опрометью бросился из класса. Ученики застыли в ожидании: что-то будет? «Побежал за начальством», — смекнули они.

Не успел хлопнуть дверь Ладухин, как все ученики повернулись к Фурманову, а Коля Шляпников сказал:

— Если тебе снова прикажут уйти из класса, не уходи.

— Не было бы хуже, — произнес Дмитрий. — Впрочем, я надеюсь на вашу поддержку.

— Поддержим, — ответили почти все.

Но вот дверь открылась, и в класс стремительно влетел Ладухин. За ним показался инспектор училища Рябинкин. Он то и дело поправлял пенсне, приглаживал маленькую черную бородку.

Сергея Николаевича Рябинкина ученики знали как человека, который нежен на словах, а на деле жесток. Он говорил всегда с ласковой улыбкой, слащаво. Если кто-нибудь из учеников не выполнял его «милых» просьб или указаний, того ожидала расправа.

Начался допрос. Обратившись к Фурманову, Рябинкин вкрадчиво спросил:

— Почему ты не подчинился требованию учителя?

Дмитрий ответил:

— Я не считаю себя нарушителем дисциплины. Это могут подтвердить мои товарищи.

— Не годится так, не годится, — вежливо сказал Рябинкин. — Как можно не выполнять распоря-

жения учителя? Если не хочешь иметь большую неприязнь, немедленно покинь класс.

Тут Фурманов растерялся. На лице его выразились и протест и горькая обида. Потом он опустил голову и направился к выходу. Товарищи притихли. Не говоря друг другу ни слова, они занялись своими колбами и пробирками. Рябинкин, довольный наведенным порядком, кивнул Ладухину и, мягко ступая по полу, словно боясь оступиться, вышел из класса. Ученики только этого и ждали. Они вдруг стали убирать химические приборы. Ладухин не мог не заметить волнения на лицах учеников, но, пока он размышлял о случившемся, кто-то громко крикнул:

— Пошли, ребята! Что здесь нам делать с этим идиотом!

И почти все, как по команде, ушли из класса, оставив там Ладухина и нескольких подхалимов.

14 декабря был созван педагогический совет. Отец Иван, Ладухин и Серафимов настаивали на исключении Фурманова из училища, но против этого выступил Иван Васильевич Голубев. Решено было Фурманова временно исключить из училища.

Когда Дмитрию сообщили об этом, он так расстроился, что не мог вымолвить ни слова. На глаза его навернулись слезы. Он побрел домой. В доме Гавриловых все заметили, что с Дмитрием произошло что-то неладное. Он опустил на стул и с трудом вымолвил:

— Исключили...

Василий Илларионович, его жена и дочь растерялись, не зная, чем помочь Митяю. Они понимали, что одним соболезованием горю не поможешь. Василий Илларионович возбужденно ходил по комнате.

— Вот тебе и на!..— говорил он.— Как же так?.. Что же они там?.. Мудрецы... Законники...

Неожиданно в доме появились товарищи Фурманова, и обстановка сразу изменилась.

— Не унывай, Митяй,— говорил Коля Бобыльков.

Дмитрий, окруженный друзьями, действительно встряхнулся. Он как будто пробудился от мучительного сна. Завязалась живая беседа, слышался смех. Горе стало рассеиваться.

Вскоре после исключения Фурманова из училища к нему явились две подружки — Марта Хазова и Соня Киселева. Соня, питавшая к Дмитрию особое расположение, держалась застенчиво. Она пришла с подругой для того, чтобы сообщить Дмитрию одну интересную новость, но, пока она собиралась говорить, Марта, всегда находчивая, общительная, опередила ее:

— Митяй,— сказала она,— наши девушки в гимназии объявили бойкот тем, кто остался вместе с Ладухиным в классе и не поддержал ушедших за тобой реалистов.

— Бойкот? — спросил Фурманов, взглянув на Соню. Он видел, что девушка хочет что-то сказать. — Бойкот? В чем же он заключается?

Соня, обрадованная его вниманием, ответила:

— Мы условились не кланяться и не подавать руки подхалимам!

Фурманов оживился. Ему было приятно слышать, что дружный поступок его товарищей успел уже вызвать отклик и в гимназии.

Как только посещавшие его товарищи уходили, Дмитрию вновь становилось не по себе. Его томило одиночество. Он то ложился на свою маленькую кровать, стараясь забыться, то брал первые попавшиеся книги и без особого смысла листал страницы, то подолгу смотрел в окно на заснеженные дома и сосновый бор. Часто в это тяжелое для Фурманова время в комнату к нему наведывался Василий Илларионович, коротая с ним длинные декабрьские вечера.

Однажды Василий Илларионович посоветовал:

— Съезди бы ты домой, в Иваново-Вознесенск, к родителям...

— Нет,— ответил Фурманов,— не могу. Я слишком люблю мать и не хочу ей причинить горе, у нее и без того много неприятностей.

Дмитрий не сообщил родителям о своем исключении из училища. Поддержку он получил от друзей и был горячо благодарен им. В его дневнике появились следующие взволнованные строчки: «Как дружно, как пылко мы сработали это дело. Уж не дадут тебе погибнуть одному, заступятся, если ты им товарищ, а не собака, не предатель... Как славно они меня поддержали...»

С 7 января 1911 года Фурманову разрешили вновь посещать училище. Он понимал, что теперь ему нельзя даже «поскользнуться», что за ним станут смотреть «во все глаза» и уж конечно снизят балл за поведение, а это может дурно сказаться при поступлении в Московский университет, о котором он так мечтал.

В январе Дмитрий послал старшему брату, Аркадию, в Иваново-Вознесенск стихотворение «Три думы», в котором говорил, что он стремился разрушить все старое и вызвать к жизни новое, но для этого у него не хватило сил.

В феврале он пишет стихотворение «Мать», а в начале марта задумывается над созданием повести «Юность», определив ее замысел в дневнике следующими словами: «В ней думаю описать и нашу жизнь и причины, толкающие нашего брата на ту или иную дорогу. В «Юности» думаю поставить центральное лицо, имеющее в некоторой степени черты и Онегина и, главным образом, Штольца... Хочу вывести и причину «обломовщины» в нашей среде, тем более — такая масса наглядных примеров».

В спорах на общественно-литературные темы с друзьями Дмитрий подчеркивает значение демократических идей Белинского, Добролюбова, Писарева. Он все чаще заявляет о необходимости отрешиться от праздных забав в жизни, проникнуться состраданием к народу, который несет бремя безысходной нужды и горя.

24 апреля он пишет стихотворение, в котором говорит с некрасовской грустью:

Вот сидим мы сейчас и дурачимся,  
Говорим про игру, про любовь  
И волнуем тревогой напрасно  
Свою пылкую, юную кровь.  
Что нам делать?.. Довольные, сытые,  
Мы не знаем совсем про нужду,  
Мы забыли про горе народное,  
Про глухую, людскую вражду.

Дмитрий советует друзьям ближе стоять к нуждам народа, знать его страдания. Не всегда и не все он высказывал друзьям прямо и откровенно. Зато своему дневнику он доверял душу и записывал все, что волновало его.

2 августа 1911 года он записал: «Страшный перелом совершается в душе моей. Все, во что я верил доселе, неколебимо чтил и уважал,— все это теперь как-то иначе осветилось, помутнело, уступило место иному, еще незнакомому. Нет уже более неопределенного, безотчетного преклонения перед «тихими наслаждениями», перед миром и покоем «душевной радости»... Душа трепещет, борется — не хочет верить в новое, да и не может не верить в него, не может не признать его правоты и осмысленности.

Писарев и Добролюбов перевернули вверх дном все мои мечты, все убеждения.

Я знаю, что ничего еще нет во мне основательного, твердого, но зачатки чего-то уже есть».

Нет, не преподаватели реального училища с их закоренелыми, затхлыми мыслями становятся властителями дум Фурманова, а революционные демократы Белинский, Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Некрасов. Он до полуночи сидит за их произведениями, учит наизусть особенно понравившиеся места и хочет стать хотя бы немного похожим на тех, кто возвысил свой голос в защиту народа.

Вскоре Дмитрий получил известие, что Наташа приехала в село Новинское.

Какое счастье! Как необходимо ему говорить с Наташей! Говорить, доверить ей самые сокровенные мысли и, конечно, увлечь ее своим вольнолюбием!

---

## Распутье

В один из воскресных дней сентября 1911 года Дмитрий приехал в Новинское.

Было солнечно, прохладно. Дул по-осеннему бодрящий ветерок. Прихватив с собой томик сочинений Мельникова-Печерского, Наташа и Дмитрий вышли из школы. Крестьянские ребяташки в домотканых штанах и длинных рубахах долго, с любопытством смотрели им вслед. Дмитрий обернулся и, увидев их пристальные взгляды, крикнул:

— Дети! Приходите вечером, я расскажу вам что-то интересное.

— Придем! — послышался многоголосый ответ.

Дмитрию не терпелось сообщить Наташе о том, что за последние месяцы он стал увлекаться философией. Он называл ей имена Канта, Бюхнера, философские работы Льва Толстого. Но эти разговоры не производили на девушку впечатления.

Они пришли к маленькой лесной речке. Здесь можно было присесть и полюбоваться природой. Дмитрий читал вслух отрывки из романов «В лесах» и «На горах».

— Какой чудесный язык! Сколько чисто народных выражений! — начинал он анализировать прочитанное, однако не находил в Наташе отзывчивого собеседника: ее не трогал и не интересовал анализ книг, она могла сказать лишь совершенно искренне о том, что ей нравится или нет, при этом не вдаваясь в глубины прочитанного. Дмитрий, конечно, понимал очень большую разницу между собой и Наташей во взглядах на жизнь, литературу, не говоря уже о философии, о которой она не хотела даже слышать. Но он все еще надеялся, что девушка многое поймет.

Возвращаясь из леса, Дмитрий то пел, то декламировал стихи. Наташа с нескрываемым удовольствием слушала его, но даже в пении далеко не все трогало и волновало ее. Романс на слова: «Сияла ночь, луной был полон сад, сидели мы с тобой в гостиной на диване» — заставлял ее трепетно следить за каждым движением в голосе Митяя, а стихи Некрасова о трудной доле бурлаков она воспринимала без воодушевления, словно хотела сказать, что у всякого своя судьба.

Вечером, как было условлено, к школе пришли деревенские ребята. Они затаив дыхание слушали интересные эпизоды из книг Майн-Рида и Конан-Дойля — Дмитрий умел хорошо рассказывать. Потом он играл с ними в бабки и городки, а когда вернулся к Наташе, она сказала ему:

— Ты, Митяй, мог бы стать замечательным педагогом!

— Возможно, — согласился он, — только это не мой удел.

В Кинешме Фурманов продолжал много заниматься, читал новые книги, которые не имели никакого отношения к программным занятиям в реальном училище. Дмитрий мечтал о поступлении в Московский университет. 6 декабря он записывает в дневник следующие характерные мысли:

«...Только одно кажется мне верным — это то, что для денег, для богатства я не буду жить. Это убьет родителей. Они кормят, учат для того, чтобы я мог хорошо зарабатывать, покойно жить и помогать им. Но этого-то они и не дождутся... Передо мной рисуется моя будущая литературная жизнь, не такая, правда, грозная, как жизнь Белинского, Писарева, Добролюбова, но какая-то удивительно плодотворная... Уеду в Москву... Москва для меня — центр, «откуда выходят гордые и сильные, как львы», откуда разливается свет и надежда молодой России. И я верю в этот свет, еще не видел его, верю, что и мой дух просветлеет и окрепнет».

Наступил 1912 год. До окончания реального училища оставалось шесть месяцев. Время летело быстро, и особенно потому, что почти каждое воскресенье Дмитрий навещал Наташу.

5 июня Фурманов получил диплом об окончании Кинешемского реального училища, а на следующий день в его дневнике появились такие строчки:

«Юность, юность! Ушла ты! Прошли золотые дни. Добром, одним добром вспомянул я их. Сколько тут было чистого, доброго, искреннего, бесшабашно-необдуманного, но, главное, искреннего...»

Вернувшись в родительский дом, он объявил отцу, что решил бесповоротно держать экзамен в Московский университет и посвятить себя литературе. Отец обещал помочь, а тут еще в жизни Дмитрия произошло одно событие, которое заставило родителей уверовать в литературное будущее сына.

6 июля 1912 года в иваново-вознесенской газете «Ивановский листок» появилось первое стихотворение Фурманова. Стихотворение не имело заглавия, печаталось под псевдонимом «Новий» и начиналось словами: «Мне грустно осенью холодной». Дмитрий посвятил это стихотворение безвременно умершему преподавателю механики школы колористов



Дмитрию Дмитриевичу Ефремову<sup>1</sup>, которого знали и любили в семье Фурмановых.

...Когда с последним тяжким вздохом  
Исчезнет дивный аромат,  
Когда пойму, что к жизни новой  
Его лучи не воскресят,—  
Мне грустно... Но лишь тень страданья  
Оставят блеклые цветы,  
Как символ вянущей надежды,  
Умершей рано красоты.

И хотя эти строчки принадлежат далеко не к лучшим стихам, написанным в то время Фурмановым, они, однако, явились первой ласточкой в печати и, конечно, вызвали восторг автора. «Боже мой, боже мой: как я рад! — восклицал он в дневнике. — Первый раз в печати... Взял газету, смотрю: нет, нет и... вдруг вижу: «Мне грустно осенью холодной»... Новий... какая радость!.. начало есть».

Часть летнего отпуска он провел в Новинском вместе с Наташей. Предчувствуя длительную разлуку, он добивался ее признаний в верности и, расставаясь с ней, обычно терзался неискренностью и недомолвками. Но как бы ни была занята его душа Наташей, приходилось думать и о предстоящих экзаменах в Московский университет. Лучшие летние дни от зари до зари просиживал Дмитрий за книгами. «Скоро, очень скоро... — пишет он в дневнике 30 июля, — так скоро, что даже самому не верится. То будет крупный шаг в моей жизни, решительный шаг... Ну, что-то будет... Вывозите меня, молодые силы, летний труд да ты — глупое счастье...»

Распрощавшись с друзьями, Фурманов в начале сентября выехал в Москву. Огорчало одно: он был зачислен на юридический факультет. Однако Дмитрий не отчаивался, и вскоре ему разрешили перейти на филологический факультет.

Началась студенческая жизнь в столице. Впечатлительный и отзывчивый, он реагировал на все, что ему встречалось на пути, не успевая осмысливать и теряясь в выборе увлекающих его событий. Кто-то из студентов приглашал его посещать «христиан-

---

<sup>1</sup> В ряде работ о Фурманове Д. Д. Ефремова ошибочно называют преподавателем Кинешемского реального училища. — *Ред.*

ский кружок» — и он охотно шел туда. Кто-то звал его в «кружок изящной литературы» — и он, конечно, становился ревностным посетителем этого кружка. Но больше всего Фурманова увлекли искусство и книги. Он в течение осени успел посетить театр Корша, Московский Художественный театр, выставки картин, Румянцевский музей.

Трудно было на первых порах дать свою оценку московским впечатлениям, и все-таки он далеко не бездумно тратил время. В его дневнике содержатся критические замечания о виденном и слышанном, он совсем не хотел слепо воспринимать происходящее.

Дмитрий вскоре перестает посещать «христианский кружок». Он восторгается картинами Шишкина и Левитана и с брезгливостью говорит о «полотнах» новоявленных художников-символистов.

С каждым днем Дмитрий все больше ощущает потребность в общественной деятельности. Но и в этот период он не находит настоящих наставников, которые помогли бы ему выбрать правильный путь в жизни.

Фурманов жил более чем скромно. На отцовскую помощь особенно рассчитывать не приходилось, поэтому он за копейки репетировал сытых оболтусов в богатых семьях, не отказывался и от других грошовых заработков. «А в сущности студенческая жизнь,— записал он в дневник 26 сентября,— одна прелесть... Я теперь, пожалуй, бедности и не вижу — я переживаю одну лишь поэзию бедности. Мне приятны эти 15-копеечные обеды, приятны скудные завтраки. Придешь в столовую, поешь на 15 коп. одно первое блюдо, подумаешь о втором и пойдешь... Утром — фунт черного — и он на весь день... Комната плохая, близкая к кухне... Часто слышен запах из кухни; постоянный говор; плач и крик детей; громкие сплетни разных кумушек — заниматься крайне неудобно... Но мало меня расстраивает все это...»

Дмитрий знал заранее, что в Москве его ждут не «кисельные берега», а поиски истины, ради которых он готов был перенести и бедность и более трудные испытания.

Как-то осенью он зашел в книгоиздательство «Наука», находившееся поблизости от университета, на Большой Никитской, и поинтересовался

новыми книгами. В это издательство, известное своими демократическими тенденциями, Дмитрий обращался не раз за различными справками, будучи еще в Кинешме. В издательстве Дмитрий встретил отзывчивого человека — Игнатия Владиславовича Гульбинского, будущего видного советского библиографа. Игнатий Владиславович приветливо встретил любознательного студента. Впоследствии он рассказал в воспоминаниях о Фурманове много интересного. Вот как Игнатий Владиславович передает свои беседы с Дмитрием:

«— Что это вас не видно? Где это вы загуляли? — сказал я, увидев как-то Фурманова, просматривавшего в уголке книги.

— О нет, я — ваш постоянный посетитель. Когда бежишь по Большой Никитской... можно ли миновать «Науку»?.. Если долго не показываюсь, то либо болен, либо пишу.

— Ах, так? Имейте в виду, что начинающие писатели у нас в справочном отделе на особом учете, как и у Рубакина. Зайдите как-нибудь, лучше утром, когда меньше народу. Поговорим...

Я много тогда говорил ему о том, чем должен быть для него университет, и потом добавил:

— Было бы ошибкой, если бы вы бросили писать, раз уж вам так хочется, но надо как-то это объединить с развитием теоретической мысли, с повышением общественных интересов. Что же именно вы пишете — прозу, стихи, статьи?..

— Стихи пишу главным образом. Также и прозаические наброски делаю. Учусь. Вот два стихотворения захватил, одно — лирика, другое — о Толстом, не обработанное еще.

— Какие писатели сейчас больше всего в поле вашего внимания?

— Сейчас — Толстой, отчасти — Достоевский.

— Так... С финансами как у вас дело обстоит? Сколько примерно получаете из дому? Обедаете каждый день или как придется? Ну чего вы смущаетесь? Дело студенческое... Скажите, — продолжал я, — могли бы вы принять участие в какой-нибудь вспомогательной литературной работе?

— Отчего же, если смогу. Надоедают уроки, да и грошвые они...♦

Да, грошовое репетиторство тяготило Фурманова. Он отказывал себе даже в самых необходимых предметах одежды и в питании. И все-таки не бедность была причиной все более назревающей духовной неудовлетворенности. День ото дня он разочаровывался в университетских лекциях, друзьях, товарищах, а тут еще Наташа подолгу не отвечала на его пылкие письма или отвечала холодно, с прежними недомолвками.

Дмитрий тревожится за будущие отношения с Наташей. 4 мая 1913 года, он, любясь ее фотографией, пишет письмо следующего содержания:

«Я сижу и жду — долго, томительно жду: не откликнется ли милая? Тишина... Молчит... И сердце забилось знакомой тревогой. Долгими вечерами сижу и смотрю в дорогое лицо... Из далекой мглы сияют ко мне живые, знакомые глаза, чудный голос, чудная ласка. Очнусь — и пусто все кругом: только образ смотрит мне прямо в глаза и что-то шепчет... Что?.. Но не могу понять я его беззвучного зова... И жутко делается мне одному, больно вдруг станет за что-то мелькнувшее, как сон, за свою разбитую чарующую сказку... Так сидел я глубокой ночью, смотрел «тебе» прямо в лицо и писал:

Ты — весна моя, сказочка милая;  
Ты — любовь моя необъятная;  
Ты — утеха мне в дни тяжелые;  
Ты — царица дум моей юности.  
И мечта моя полюбовная.  
Взором девичьим в душу глядячи,  
Словно солнышком, теплым, ласковым,  
Ты баюкаешь мою молодость».

В летние каникулы он снова встречался с Наташей в Новинском, снова не мог понять ее, однако, возвратившись в Москву, все еще надеялся на взаимность и единую судьбу с любимой девушкой.

20 ноября 1913 года Дмитрию сообщают из дома, что умирает отец. Теперь для Дмитрия все слилось в одном: скорее в Иваново-Вознесенск, чтобы застать отца в живых, чтобы сказать ему последнее прости.

Когда Дмитрий приехал домой, большая семья Фурмановых была в полном смятении: отец доживал последние минуты, был без сознания. Плачущие

братья, сестры и мать сразу расступились, чтобы пропустить поближе к отцу только что приехавшего Митяя. Он сразу понял, что дела очень плохи. Снял у порога студенческую фуражку, не сбросив шинели, быстро вошел в комнату и сел у изголовья отца.

— Папа! Папа! Митяй приехал... Я приехал... — задыхаясь от волнения, говорил он.

Отец, изможденный и худой, произнес что-то невнятное и через несколько минут умер. Дмитрий понимал, как тяжело будет матери, которая теперь осталась одна с большой семьей, без средств к существованию. Ведь отец ничего, кроме долгов, им не оставил. Дом в Иваново-Вознесенске был куплен в свое время под векселя. Отец всю жизнь не мог расплатиться с долгами, и умер в бедности. 25 ноября Дмитрий записал в дневник скорбное признание: «Похоронили папу... Хоронить было не на что...»

---

## Разбитые надежды

В Московском университете Фурманов не услышал живого голоса, не увидел открытого, ободряющего взгляда, как будто какая-то мрачная тень скользила по его аудиториям, где в свое время бились горячие сердца Белинского, Герцена, Огарева и многих других, чьи имена были для Фурманова близкими и дорогими.

Уже 18 сентября 1913 года в его дневнике появляется запись: «Черт его знает почему, но достаточно мне пробыть в университете час или два, как самые мрачные мысли охватывают меня и просто приводят в ужас. Мне хочется и кончить с собою, хочется крикнуть кому-то, проклясть кого-то невозвратно, злобно, жестоко.

На душе тяга... Чувствую какое-то ужасное одиночество...»

Это разочарование у Дмитрия произошло по следующим причинам. В 1910 году царское правительство поставило на пост министра просвещения крупного помещика Кассо, известного своим мрако-

бесиём. Бывший профессор гражданского права в Московском университете, Кассо, став министром, оказался ярким приверженцем реакции и, как метко выразился В. И. Ленин, сторонником «казенного народного «затемнения»». В Московском университете в 1911 году он добился исключения нескольких тысяч студентов и отстранения от работы трети преподавательского состава.

В знак протеста против такой расправы над прогрессивно мыслящими людьми виднейшие ученые Тимирязев, Чаплыгин, Лебедев и другие покинули стены Московского университета.

Наступили годы нового революционного подъема в России, но над Московским университетом все еще простиралась зловещая тень Кассо: самые способные студенты были изгнаны, лучшие преподаватели или получали увольнение, или сами уходили.

В таких условиях Фурманов не нашел себе друзей, не мог получить ответа на наболевшие вопросы, которые, как он признавался, «изгрызли всю его душу». Дмитрий походил на человека, заблудившегося в лесу и не имеющего в руках компаса.

Увлекаясь литературой, он бесспорно отдавал дань русскому классическому реализму с его гуманизмом и демократической целеустремленностью, в то же время питал брезгливое отвращение к проповедникам «чистого» искусства.

Для него Лев Толстой, Достоевский, Горький являлись кумирами реалистического искусства, которое правдиво изображает жизнь, рождает новые мысли, будит свежие порывы. «Искусство для искусства — абстракция, удаленность, мертвый мир, самодовлеющая ничтожность», — пишет он в дневнике 7 января 1914 года, пишет убежденно, обдуманно, обоснованно.

Дмитрий приходит к выводу, что нет бога, что «бог — это подлость», и в то же время не может еще порвать с религиозными чувствами, подогреваемыми философией Льва Толстого.

Он делает попытку вмешаться в общественную жизнь, пробует отстаивать публичные лекции, проводимые в университете, и попадает в полицейский участок, опять один, без друзей и единомышленников. Но он совсем не желает быть никому не нужным

героем-одиночкой, он ищет хотя бы маленький коллектив, а его все нет.

Это был тяжелый период в жизни Фурманова. Он полностью разочаровывается в университете, и нет близкого человека, с кем можно было бы поделиться. Дмитрий решает выяснить свои отношения с Наташей. В одном из писем к ней он заявляет: «Любя,— невозможно так равнодушно молчать. Хотя ты девица, впрочем, своенравная и своеобразная. Может быть у тебя и любовь-то какая-нибудь особенная, близкая к равнодушию,— середина между полным безразличием и случайным интересом».

Некоторые письма Наташи он сравнивал с «официальными отчетами, написанными по нужде», и все-таки не терял надежды на дружбу с ней.

Весной 1914 года Наташа приехала в Москву, откликнувшись на многочисленные приглашения Фурманова. Вместе они бродили по широким нарядным улицам и узким закоулкам. Гуляя по Нескучному саду, Фурманов воскрешал в памяти встречи с Наташей в Новинском.

— Когда вспомнишь наши встречи,— говорил он,— становится как-то легче. Помнишь, как однажды я, весь в грязи, измученный, усталый, пришел пешком к тебе, в Новинскую школу? Мы сидели долго-долго. Входила заря, румяная, веселая заря, а мы все сидели и больше молчали, неизвестно чем наслаждаясь: то ли алеющим небом, то ли чем-нибудь другим.

Наташа с участием слушала эти воспоминания. Ей, видимо, нравилось романтическое настроение Дмитрия. Они поднялись на Воробьевы горы. Всмотриваясь в необъятную панораму Москвы, Фурманов испытывающим тоном спросил Наташу:

— Не напоминает ли это тебе что-нибудь из наших прошлых встреч?

Девушка задумалась, потом тихо сказала:

— Нет...

— А помнишь, мы с тобой читали Герцена «Белое и думы»?

— Да...

— Ну вот, разве тебе сейчас не приходит на память, как Герцен и Огарев здесь, на Воробьевых горах, дали клятву бороться против зла?

— Вспоминаю,— ответила Наташа.— Ты, кажется, мечтал быть похожим на них.

— Мечтал! — с жаром произнес Фурманов.— Мечтал?! Пора от мечты переходить к делу! Мне уже двадцать третий год, а я все чего-то ищу и никак не найду. До сих пор у меня нет учителя, нет знамени, с которым я мог бы жертвовать всем, даже жизнью.

Наташа молчала. Эти слова Дмитрия, как и прежде, не вызывали в ней живого отклика...

В июне 1914 года царское правительство и русская буржуазия лихорадочно готовились к войне. Всюду проводились манифестации, чтобы поднять в стране ура-патриотические настроения. «Царь-батюшка» чаще стал показываться народу. Во время одного из таких «явлений царя народу» Фурманов впервые увидел коронованного пьяницу, ввергнувшего русский народ в пучину войны. Правда, представление Фурманова о царе как о бездарном правителе сложилось значительно раньше. Иначе Дмитрий не мог бы высказать столь убедительные слова:

— Видел царя. Жалкая картина!.. Ненужный человек.

17 июля Фурманов был на военной манифестации в Москве. Через два дня он записал в дневнике:

«Скверное у меня осталось впечатление. Подъем духа у некоторых, может, и очень большой, чувство, может, искреннее, глубокое и неудержимое — но в большинстве-то что-то тут фальшивое, сделанное. Видно, что многие идут из любви к шуму и толкотне... И скверно особенно то, что главари, эти закрикивалы, выглядывают то дурачками, то нахалами... Подло, гадко было в эту манифестацию».

Но вот грянула война. Студентов старших курсов университета пока на фронт не брали. Дмитрий мог бы продолжать учиться, но он не захотел стоять в стороне от народной трагедии. В те дни он твердо решил покинуть университет и поступить на санитарные курсы, чтобы стать братом милосердия. О своем намерении Дмитрий поспешил написать матери:

«Мне придется ездить в санитарном поезде и перевозить раненых из города в город. Решил я это дело крепко, так что, дорогая мама, ничего меня



не упрашивайте... Время такое, что надо помогать народу, чем только можешь».

Эти же мысли он излагал Наташе: «Приходится иногда сидеть напролет ночи подле тяжело раненых. По окончании занятий я уеду на войну... Жаль маму, тебя... Это самое дорогое, самое близкое. Но что-то влечет меня туда неудержимо. Мысль теперь созрела и окрепла, и не изменю я ей... Так и чувствуешь каждую минуту, что здесь вот, за работой, ты приносишь какую-то необходимую, слишком нужную пользу».

Фурманов тогда же написал стихи, в которых выразил уверенность, что он наконец-то стал на путь служения народу. Стихи заканчивались словами:

Нет, нет, довольно... Мыслью новой  
Хочу я сердце оживлять.  
Чтоб было мне за что поспорить,  
Чтоб было мне за что страдать.

В санитарном поезде Земского союза Фурманов исколесил тысячи километров, от Урала до Кавказа. В первые месяцы работы братом милосердия он не успевал переваривать массу впечатлений, вызванных просторами России, необъятными картинами природы, поражавшими своим великолепием.

В те дни его письма к Наташе были похожи на яркие литературные зарисовки суровых красот Урала, солнечных просторов Кубани, горных вершин Кавказа. Некоторые письма с Кавказа он писал на 15—20 страницах, стремясь передать все, что казалось ему интересным.

Наблюдательный и впечатлительный, он как будто хотел вдохнуть в каждую страницу письма частицу своей души, стремясь убедить Наташу, как необходимо видеть новые места, встречать новых людей, ближе познакомиться с просторами своей Родины. В одном из писем он писал: «Я не буду тебе описывать Кавказ — его непременно надо видеть, чтобы верить и знать, как он хорош». Но тут же, не сдержавшись, он начинает рассказывать об этом чудесном крае. Он с любовью описывает, как выглядят горные вершины на рассвете, при восходе солнца, и днем, и вечером во время заката.

Каждый отрывочек письма свидетельствует о литературном даровании Фурманова. Вот, например, как он писал о кавказских реках: «Полюбил я их за неугомонную и отчаянную стремительность, за их крутой и гордый нрав, за непобедимую и величавую силу. Они не знают никаких преград, для них не существует законов и искусственных запретов — мчатся они свободные, красивые и гордые, мчатся через горы, ущелья и долины. Один за другим срываются сверху исполины-камни и пытаются преградить путь свободной реке. Но все напрасно: струи лижут холодные бока исполина, гладят его по тмени и, наконец, побеждают его совершенно, словно тут и нет никакой преграды».

Разъезды в санитарном поезде по неоглядным просторам России возбуждали творческий ум Фурманова, и он стремился с жадностью воспринять все то, что видел. Дмитрий понял империалистический характер войны. Ухаживая за ранеными, он ни от кого из простых людей не слышал ура-патриотических слов и часто был свидетелем жалоб на жизнь, гневных проклятий. Отвратительный облик войны предстал перед ним еще более наглядно, когда он познакомился с представителями военного начальства, среди которых было много карьеристов, жестоко обращающихся с простыми солдатами.

В дневнике Фурманова содержится много интереснейших записей, свидетельствующих о том, как он возненавидел войну, затеянную в интересах буржуазии. Точно так же, как и в 1912 году, когда Дмитрий с самыми радужными надеждами пришел в университет, а вскоре испытал горькое чувство разочарования, теперь он не знал, как вырваться из пекла войны, куда бежать, чтобы по-настоящему служить народу. «Больше и глубже с каждым разом, с каждой новой жертвой возмущаюсь этой непостижимой бессмыслицей... Недалеко то время, когда прорвется молчание,— и начнется большое дело, дело «О безответственности российских Скалозубов»». Кстати сказать, об этих скалозубах Фурманов записал в дневнике и такие слова: «Обращение офицеров настолько грубо и невежественно, что можно подумать, будто это какая-то специально подобранная банда наглых притеснителей... Солдат

бьют, как собак, беспричинно и произвольно выдумывают бессмысленные наказания».

Настроение Фурманова резко изменилось. Осенью 1915 года он писал Наташе: «К моему глубокому сожалению, все помыслы и мечты, кажется, потерпят крах... Ты говоришь о широком поприще. Сам я жил только им одним, только и мечтал все, когда дотронусь до настоящего, живого дела. И странно получилось, словно я ошибся в выборе, пошел не туда... Я говорил тебе, что лазаретная работа захватила, что душу всю мою заполнила, так это, кажется, я только сам себя уверил и обманул, на деле — не то...»

В те дни он часто писал Наташе, делясь с ней, как с другом, своими думами и планами. Но она отвечала редко, и, главное, девушку не увлекали его сокровенные мысли. Дмитрий понял, что с Наташей придется скоро расстаться.

В декабре 1915 года Фурманов, получив трехдневный отпуск, поехал в Новинское. Ничего доброго не предвещала ему эта встреча. Он ехал в поезде, томимый неприятными чувствами. В снежное декабрьское воскресенье Дмитрий подходил к Новинскому. Издали увидел он школу и знакомые избы, занесенные снегом до окон. Сердце его учащенно билось.

Его встретили Марта Хазова и Соня Киселева.

— Митяй! — радостно вскрикнули обе девушки.

Дмитрий уловил в их голосе не только радость, но и растерянность, словно они были в чем-то виноваты. Он сел к столу, а Марта и Соня суетливо стали готовить угощение: кипятили чай, подали на стол соленые грибы, пресные пироги с морковью и шинкованную капусту.

Девушки наперебой расспрашивали его о том, где он побывал за последнее время, как добрался до Новинского. И в этих вопросах Дмитрий уловил что-то искусственное. Девушки явно хотели отвлечь его от главного.

— А где же Наташа? — спросил он.

— Она ушла в Тезино к Мартьянову<sup>1</sup>, — сказала Соня.

---

<sup>1</sup> Впоследствии муж Наташи Соловьевой. — *Ред.*

— И часто она к нему ходит?

— Ходит,— ответила Марта.

Фурманов изменился в лице. В его карих глазах засветилась грусть и горькая обида. Он вынул из кармана гимнастерки фотографическую карточку Наташи и на обороте ее написал стихи, смысл которых сводился к тому, что белая лебедь уронила свои перья в грязь и кто-то их растоптал. В тот декабрьский воскресный день Дмитрий узнал всю горечь неразделенной любви.

---

## Светлые предчувствия

Поездки в санитарном поезде по широким просторам России и фронтам многому научили Фурманова, многое открыли перед ним. Его жизненный опыт обогатился, он заметно возмужал. Теперь он понимал, что правду надо искать среди рабочих. Дмитрий страстно мечтал вернуться в Иваново-Вознесенск.

В самом начале 1915 года Фурманов познакомился с Аней Стешенко. Дмитрий часто бывал вместе с Аней, делился с ней своими мыслями, литературными замыслами.

Аня Стешенко родилась в Екатеринодаре. Выросла она в простой рабочей семье. Закончив краткосрочные санитарные курсы, она вместе с Фурмановым перевозила в поездах раненых. Аня была миловидной девушкой, простой и безыскусной в обращении и разговоре. Особенно выразительны были у нее глаза, большие, правдивые, жизнерадостные. Как-то в начале знакомства с ней Фурманов сказал:

— Я буду называть вас Ная.

— Отчего так? — спросила девушка.

— Так мне нравится.

— Ну что ж. Хорошо, Митяй!..

...Поезд шел из Москвы на турецкий фронт. В вагоне было просторно, там находились лишь санитары и сестры милосердия, пожилые женщины и девушки. Брат милосердия Дмитрий Фурманов сидел одиноко у окна и о чем-то сосредоточенно думал,

глядя на заснеженные поля. На коленях у него лежала дешевая канцелярская папка с белыми завязками из тесьмы. Временами он раскрывал папку и что-то вдруг торопливо записывал. Потом снова смотрел в окно, задумчиво, уныло, не обращая никакого внимания на других людей, находящихся в вагоне.

Аня Стешенко подошла к Фурманову:

— Ты о чем-то грустишь, Митяй?

— Да нет,— отозвался он и сразу повеселел.—

Садись, Ная.

— Пишешь письмо? — спросила девушка.

— Да, в Иваново-Вознесенск, надо написать маме...

В пути, свободные от всяких занятий, они разговорились. Взяв Аню за руку, Дмитрий сказал ей тихо, проникновенно:

— Как счастлив был бы я, если бы ты, Ная, стала моим другом.

— Неужели у тебя до сих пор нет любимой девушки?

— Была...

— Где же она теперь?

— Это очень длинная история,— ответил он...

Нередко Дмитрий знакомил Аню с дневниковыми записями, с новыми стихами, рассказами и находил в ней самого участливого собеседника. Он поведал ей о своем твердом решении покинуть санитарный поезд, уехать в Иваново-Вознесенск.

— Я не могу больше видеть эту страшную бессмыслицу,— говорил он Ане о войне.— Здесь, в санитарном поезде, среди раненых, я ощущаю одно недовольство и возмущение, которое рано или поздно вырвется наружу и кончится бурей.

— Мне отец пишет из дома,— сказала Аня,— что войною все недовольны.

— Да, именно так,— продолжал Фурманов.— Из письма брата Аркадия я узнал, что в Иваново-Вознесенске купцы вздули цены на хлеб, рабочие бастуют. Можно со дня на день ожидать более крупных осложнений.

В те дни Дмитрий много писем отправил матери, зная, как тяжело живет ей после смерти отца. Все его письма проникнуты глубокой сыновней любовью.

В письмах к матери он откровенно возмущается войной. Все чаще Дмитрий пишет о печальных картинах, связанных с очередными наборами новобранцев, о несчастной доле тысяч беженцев, оставшихся совсем нищими, о лживых буржуазных газетах, которые изо дня в день прославляли мнимые победы на фронтах. Вот одно из таких писем:

«Здравствуй, дорогая мама!

Знать, везде такая же сумятица, как у нас, грешных. Вы говорите о слякотной, дождливой погоде, а мы уже так привыкли к ней, что забыли, как светит солнце... Враги застыли в ожидании, разделенные топями и болотами. Никому не хочется первому напороться на нож... Сидишь вот и гадаешь, словно старушка на бобах, а на деле — на деле ничего-то я не знаю, ничего-то не понимаю я в этой драме... Вам гадать не приходится — вас питают газеты, поющие, словно поломанная шарманка, все одну и ту же фальшивую песню о нашем благополучии... Эта песня, как усыпляющая, коварная песня сирены, завела нас в Карпаты, откуда миллионы страдальцев выбрались только потому, что они — русские и привыкли ко всякому горю. Будь на нашем месте другой народ — погиб бы целиком...»

Дневники Фурманова, написанные во время поездок в санитарном поезде по фронтам, пестрят записями, очень ярко характеризующими его повышенный интерес к явлениям общественной жизни. Разные люди, города, солдатская служба, пленные, карьеризм царских военачальников вызывают у него глубокие раздумья, и он торопится всему дать свою оценку.

В сентябре 1915 года в Киеве Дмитрий осматривает достопримечательности города и делает записи в дневнике. Вот что он писал 16 сентября:

«...Пошел бродить по Киеву. Первым долгом уехал в Киево-Печерскую лавру. Видел Успенский собор, видел пещеры и был в них. А там с трехкопеечной свечой осматривал, а иногда ощупывал мощи... Все мощи закутаны в красные покрывала, и меня ни на одну минуту не оставляла мысль сорвать одно из них и раз навсегда — или поверить, или плюнуть в негодование. Но на всех перекрестках черными привидениями стояли монахи и зорко

следили за проходящими... Из лавры — на Крещатик. Видел памятник П. А. Столыпину. Стоит он во весь рост — со свитком в правой руке. А сбоку надписи. Одну я запомнил: «Вам нужны великие перевороты, а нам нужна великая Россия», — красивая, но бессмысленная фраза, потому что великую Россию могут создать лишь великие перевороты, а для великих переворотов в свою очередь нужны и великие люди, а потому и выходит, что великие люди лишь те, которые так или иначе воплощают в себе крупинки великих переворотов и событий...»

Фурманов в этот период был еще далек от революционной деятельности. Он ограничивался едкими записями в дневнике, а в своих литературных замыслах стремился раскрыть мрачные картины империалистической войны с ее бесчеловечным истреблением людей. Фурманов пишет много стихов, обрабатывает легенды народов Кавказа, создает очерки «Наши генералы», «Братское кладбище на Стыри».

Нарастающая революционная буря в России волнует его постоянно. Дмитрий стремится поскорее вырваться в Иваново-Вознесенск, в рабочий город, где, как ему казалось, он найдет наконец себя.

12 февраля 1916 года Фурманов записывает в дневник стихотворение «Пробуждение великана», которое как нельзя лучше характеризует его тогдашние настроения:

Тише. Огромное чудо свершается,  
В темном лесу великан пробуждается,  
В темном дремучем лесу.  
Он еще дремлет под шапкой мохнатою,  
Он еще сердцем и мыслью крылатою  
Солнца не знает красу...  
Тише. Проникнитесь думой глубокою  
С мудрой душою и мощью широкою  
Встанет гигантский народ.  
Встаньте торжественно, в полном молчании,  
Дайте дорогу — в пурпурном сиянии  
Новая сила идет!..

Находясь в феврале в Москве, Дмитрий прочитал в газете «Русское слово», хотя и без имени автора, свой очерк «Братское кладбище на Стыри». Это его обрадовало. Еще бы: второй раз в печати! А по существу, думал Фурманов, это настоящий дебют! Он не придавал значения стихотворению, кото-

рое было опубликовано в 1912 году в Иваново-Вознесенске, считая его теперь совсем слабеньким по литературным достоинствам и замыслу. А вот «Братское кладбище на Стыри» — другое дело. Это правдивое, горькое повествование о бессмысленно погибших людях, это сама жизнь, суровая и негодующая. «Ведь по существу это дебют», — заносит он в дневник и чувствует новый прилив сил, желание писать ярче, острее.

Однако газета «Русское слово» не могла стать трибуной для Фурманова. Вскоре ему отказали в сотрудничестве, мотивируя это публицистичностью его произведений. А в нем действительно рождался талант писателя-публициста. Но Дмитрий не встречает на своем пути ни писателей, которые могли бы помочь ему, ни редакций, где бы он мог найти радушный прием. И вновь Фурманов остался со своими мучительными думами наедине. С оттенком отчаяния записывает он в дневник:

«Когда же придет настоящая жизнь? Такая, за которую будет можно сказать: «Теперь живу, работаю и счастлив работой, потому что к ней шел, ее одну ждал...» А теперь какой-то черновик жизни...» Немного позднее опять те же мысли: «В минуты горя или злобы... приходило желание бороться, отстоять себя, объявить себя, испробовать скрытую силу. Была жажда борьбы — самая ценная струна жизни».

В первых числах апреля Фурманов едет в санитарном поезде на Западный фронт, в район Двинска. Матери он пишет о народном горе и страданиях. В одном из писем он заявляет: «Бреду на авось, наугад, кочуя от деревни к деревне, от города к городу, направляясь в беспредельную глубь матушки России. Тяжелые, печальные картины».

Дмитрий настойчиво ищет причину, чтобы покинуть санитарный поезд и предлагает Ане Стешенко вместе с ним ехать в Иваново-Вознесенск. Дни тянутся мучительно медленно. Но вот наступает желанный день. «Я накануне отъезда, — пишет он 26 октября в дневнике. — Завтра ночью оставлю 30-й транспорт и еду на родину, заниматься с рабочими... Где-то застанет меня 26-е число будущего года. Неужели в мирной, успокоенной Москве?.. А может



быть, одну бурю сменит другая и я сам умчусь в этом новом вихре, в водовороте еще более неудержимом и страстном...»

Вместе с Аней Дмитрий покидает санитарный поезд и едет сначала в Кинешму, чтобы навестить старшую сестру, Софью Андреевну. Представив сестре Аню как свою невесту, он прожил несколько дней в приволжском городе, навещая старых знакомых. Фурманов встретился с Василием Илларионовичем Гавриловым и долго сидел с ним в маленькой комнатке, в которой когда-то прожил почти два года.

Василий Илларионович, обрадованный приездом Дмитрия, забрасывал его вопросами о военных событиях. Он хотел узнать о действительном положении на фронтах и о том, каково настроение солдат.

— Судя по нашим газетам, — сказал он с горькой иронией, — дело у нас идет как по маслу.

— Я уже давно не верю газетам, — ответил Фурманов. — Они изолгались, как старые сплетницы, для которых дорого только одно: своя продажная шкура.

Василий Илларионович улыбнулся.

— Что же ты намерен делать?

— Еду в Иваново-Вознесенск, поближе к простым людям — правду надо искать среди них, — сказал Дмитрий.

— Золотые слова! — воскликнул Василий Илларионович. — Только смотри не заблудись: голова у тебя необузданная, кипятку в ней много, но одним жаром не возьмешь. А что касается Иваново-Вознесенска, так это ты правильно решил. Там не пропадешь.

Встреча с Василием Илларионовичем надолго осталась в памяти Дмитрия, и не раз он вспоминал его слова.

Через несколько дней Фурманов расстался с Аней. Она поехала навестить родителей в Екатеринбург, обещая скоро вернуться к своему другу и жене. Но их встреча состоялась лишь через год, и в этом были повинны не они, а события, происшедшие в стране.

Дмитрий поехал в Иваново-Вознесенск. Он мог бы вернуться в Московский университет, но не хо-

тел, потому что твердо верил в грядущие, очень близкие перемены в России. Наделенный незаурядными способностями, он мог бы найти себе «тепленькое местечко», но такая мысль даже не приходила ему в голову: унижаться, выслуживаться перед господами фабрикантами ему было противно.

Иваново-Вознесенск встретил Фурманова нуждой, заботами о насущном хлебе, суровыми, измученными лицами рабочих, особенно женщин, у которых мужья и взрослые сыновья были на войне.

Дмитрий знал, что здесь его ожидала напряженная работа. Вставал вопрос, с чего начинать, как подойти ближе к рабочим, чем оказать им посильную помощь. К счастью, такое дело нашлось: он пошел работать преподавателем на общеобразовательные курсы для рабочих, организованные Московским обществом грамотности. Курсы копировали программу общеобразовательных школ, даже закон божий здесь преподавался.

Работа оживилась с тех пор, как там появился Дмитрий Андреевич. Начитанный, хорошо знающий русскую литературу, влюбленный в сочинения Некрасова, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Фурманов с присущим ему темпераментом рассказывал на уроках о том, как изображали писатели-демократы вековое народное горе, как они верили в могучие силы народа.

Уроки литературы Фурманов превращал в наглядную иллюстрацию развития русской революционной мысли. Он рассказывал, каким чудовищным гонениям подвергались писатели, поднимавшие свой голос в защиту народа.

Слушателями курсов были рядовые рабочие — ткачи, прядильщики, и это особенно радовало Фурманова. Приходя домой, он делился своей радостью с матерью, с братьями и сестрами, не раз говоря им:

— Как давно мечтал я приобщиться к настоящему делу! Теперь, кажется, нашел его. Какие благодарные у меня слушатели, как любят они каждое хорошее, доброе слово! Приходится только сожалеть, что немногие из рабочих имеют возможность учиться.

А в дневнике появлялись все новые записи, в которых утверждалось предчувствие надвигающейся

революции. И хотя в то время Фурманов понятия не имел о том, как совершится революция и кто станет ее движущей силой, он, однако, 8 ноября 1916 года записывает: «...громко, смело зову молодую свою жизнь на яркий солнечный путь. Там радость, там праздник, там гордость от осознанной и объявленной силы. Слава тебе, живая вера в живой источник живой души!»

И еще, 15 ноября: «...Слышите, как сильно бьется пульс русской жизни? Взгляните широко открытыми алчущими глазами, напрягитесь взволнованным сердцем — и вы почувствуете живо это могучее дыхание приближающейся грозы.

Новыми наборами котят ослабить Русь, чтобы некому было поднять революцию, чтобы было кем ее придушить. Но велика наша матушка-Русь и много осталось в ней честного люда!»

Дмитрий Андреевич хлопочет о расширении курсов, агитирует слушателей, чтобы они втягивали в учебу своих товарищей. Но в условиях царского режима все это делалось с невероятным трудом. Власти не заботились о народном образовании, они боялись, как бы на этих курсах не выросли революционеры, могущие пошатнуть царский трон.

Но вот был свергнут царь. Город заволновался, озарился тысячами красных полотнищ. Многие рабочие, вчерашние слушатели общеобразовательных курсов, пополнили ряды большевистской партии. Предприятия все еще назывались именами фабрикантов, но испуганные предприниматели поспешили удрать, чтобы окопаться около образовавшегося Временного правительства.

Февральская революция произвела на Фурманова сильное впечатление. Его восторгам не было конца. В стихах, в дневниковых записях, в семейных разговорах он выражал чувство небывалой радости.

В Иваново-Вознесенске, этом крупном промышленном городе с его революционными рабочими, была сильная большевистская организация. Текстильщики готовились к решающим боям.

Партийная организация Иваново-Вознесенска с радостью узнала о приезде 3 апреля в Петроград Владимира Ильича Ленина.

Приезд Ленина имел огромное значение для большевистской партии, для революции. Царское самодержавие было свергнуто. Перед партией большевиков и рабочим классом встали новые задачи.

Ленин выступил на собрании большевиков в Петрограде. Он изложил свои Апрельские тезисы, которые вооружили партию гениальным планом борьбы за переход от буржуазно-демократической революции к социалистической.

В Иваново-Вознесенск приехал Андрей Сергеевич Бубнов. Он был делегатом на Апрельской конференции РСДРП(б). Бубнов на общегородском партийном собрании сделал доклад о конференции.

Иваново-Вознесенская организация большевиков единодушно одобрила на этом собрании все постановления Апрельской конференции. Большевики Иваново-Вознесенска пошли по правильному, ленинскому пути и повели массы к борьбе за власть Советов.

Но Фурманов не разобрался в сущности буржуазно-демократической революции. Преподаватель рабочих курсов в политическом отношении оказался ниже любого своего ученика. Это был тяжелый период в жизни Дмитрия Андреевича. Долгое время стоявший в стороне от революционного движения, он не смог сразу выбрать правильный путь.

---

## Духовная драма

Забегая несколько вперед, хочется обратить внимание читателей на одну дневниковую запись, внесенную Фурмановым 12 августа 1921 года и озаглавленную: «Из моего позорного прошлого». Вот что он тогда записал: «Истпарт выпустил свою первую книгу «Из эпохи «Звезды» и «Правды»». Читаю я вчера и думаю: «... вот в 1911—1914 годах был революционный подъем. Издавались и набатом били эти две славные газеты, волновались рабочие — переживали великие дни... Я тогда был студентом. И ничего не знал —

совершенно ничего: ни про газеты, ни про волнения, ни про партии. Студент, взрослый человек — а я и понятия не имел не только о каких-нибудь там ликвидаторах, отзовистах и т. д., но и о социал-демократах слышал всего 2—3 раза — так только, слово услышу, а значения не понимал...

Просто ужас вспомнить: кругом кипело море, вздымались волны, готовилась буря, а я ничего-ничего не видел...

А как бы это совпало с моим потенциально-революционным состоянием! Я чувствовал в себе всю жизнь, с детских годов — внутренний протест, недовольство гнетом, устремление к свободе, любовь к бедноте — были все задатки революционера... Как это горько. Хоть вычеркивай прошлую жизнь целиком — так она пуста, глупа, несерьезна».

Так сокрушался Дмитрий Андреевич, вспоминая студенческие годы. Ему было особенно обидно, когда он сравнивал свою судьбу с жизнью других земляков. Вот, например, Андрей Бубнов, тоже интеллигент, а как богата его биография! В двадцать лет он был уже большевиком, прошел суровую школу подполья еще в канун первой русской революции, вместе с Фрунзе поднимал ткачей на баррикады, а он, Фурманов, оказался совсем неподготовленным человеком даже во время Февральской революции!

Но нет никакой надобности замалчивать или сглаживать его духовную драму, и прежде всего потому, что он вышел из нее победителем и дал ей сам беспощадную оценку. Разве не известно, что судьбы людей, вышедших из интеллигенции, по-разному сложились в революции? Одни, такие, как Андрей Бубнов, встретили ее, будучи закаленными большевиками, другие, подобно Дмитрию Андреевичу, «шарахались из стороны в сторону» (выражение Фурманова), не зная, кому отдать свое горячее сердце.

Ошибки Фурманова не нуждаются в оправдании. Он сам своей кипучей деятельностью и кровью искупил эти ошибки. Сколько горьких мук пережил Фурманов в те дни, когда надо было делать выбор, когда стоял вопрос о духовной смерти или жизни! Он принадлежал к тем лучшим представителям интеллигенции, которые не могли не принять великое ленинское учение и стали под его знамя.

Позднее в своей автобиографии Дмитрий Андреевич писал: «Ударила революция 1917 года. Пламенные настроения, при малой политической школе, толкнули быть сначала максималистом, дальше анархистом, и казалось, новый желанный мир можно было построить при помощи бомб, безвластия, добровольчества всех и во всем...

А жизнь толкнула работать в Совете рабочих депутатов (товарищем председателя), дальше — в партию к большевикам, в июле 1918 года — в этом моем повороте огромную роль сыграл Фрунзе».

...1 марта 1917 года в Иваново-Вознесенске узнали о Февральской революции. Уже ранним утром Фурманов почувствовал, что в город пришло какое-то очень важное известие: рабочие в приподнятом настроении спешили на фабрики, городские, словно по сигналу, исчезли из своих, годами насиженных полосатых будок, а к полудню остановились уже все предприятия, и народ с красными знаменами и революционными песнями вышел на улицы. Первое, что сделал Дмитрий Андреевич в этой необычной, но долгожданной обстановке, побежал на курсы и собственноручно написал крупное объявление: «По случаю великих событий, происходящих в России, занятия на курсах прекращены до воскресенья».

Город совершенно преобразился. На фабричных дворах и площадях шли массовые митинги, выступали до хрипоты надрывающиеся ораторы. Одни из них считали день свержения царя началом решительного наступления народа в борьбе за свои права, другие благовестили о конце борьбы и наступлении эры человеческого счастья.

В Иваново-Вознесенск прибыли из ссылок и тюрем испытанные подпольщики-революционеры — Федор Никитич Самойлов, Василий Петрович Кузнецов, Александр Семенович Киселев и другие большевики. Рабочие пока что не были полными хозяевами города, но теперь они сплывали свои ряды вокруг старых, опытных большевистских вожаков.

В те дни Фурманов, принявший Февральскую революцию как избавление от всех вековых страданий народа, торопился свои восторженные чувства

записать в дневник. Так, 2 марта он как бы в подтверждение своих переживаний пишет в дневнике стихотворные строчки Надсона и свои комментарии к ним:

«О, мой друг, не мечта этот светлый приход,  
Не пустая надежда одна...

Вот оно пророчество молодого чуткого поэта. Мир устал от мук и поднялся могучей волной добывать свое украденное счастье. То, что еще вчера было «тайнственной вестью» — претворяется в дело... Все заволновалось, заходило, словно в морской качке. Рушится старое зло, родится молодая, свободная Россия».

Радуюсь, что свергли царя Николая, не разобравшись во всех сложностях буржуазно-демократической революции, Фурманов решил, что наступила эпоха всеобщего братства. Однако борьба становилась все более острой, ожесточенной. На политическую арену вышли представители разных партий, о существовании которых Фурманов не имел понятия. В этой обстановке он заблудился, не зная, кому посвятить свою душу. Чувствуя революционную поступь народных масс, он готов был жертвовать всем для народа, но в то же время попадал под влияние буржуазных демагогов и допускал грубые ошибки. Выполняя практическую работу в Совете рабочих и солдатских депутатов, он вдруг оказывается в рядах эсеров, затем анархистов.

Но ни те, ни другие не могли полонить душу Фурманова. Дмитрий Андреевич шаг за шагом сбрасывал с себя наносную шелуху буржуазной идеологии и через глубокие переживания, трудным, извилистым путем шел к большевикам.

Путь Фурманова к большевикам обуславливали не только его личные качества, но и революционная обстановка крупного текстильного города, каким был Иваново-Вознесенск. По признанию Дмитрия Андреевича, Иваново-Вознесенск оказался для него политической колыбелью, а подлинными учителями жизни — рабочие-текстильщики, большевики, без которых он не мог бы прийти к твердым убеждениям и быть в первых рядах борцов за великие завоевания Октября.

Первое, что оттолкнуло Фурманова от увлечения керенщиной, это начавшийся контрреволюционный террор в городе. Озлобленные черносотенцы убивали рабочих. «Совершаются ужасные дела,— писал Дмитрий Андреевич в своем дневнике.— Каждую ночь вырезают несколько человек... Одну девушку зарезали среди бела дня. Милиционер был зарезан в людном квартале — у станции. Вся резня — случайно или не случайно — производится в рабочей среде. Не тронут ни один фабрикант, торговец... Грабежи редки, видно, что главное не в них». Тут же Фурманов очень ярко описывает, как революционные органы разоблачили многочисленную банду, скрывавшуюся в подzemелье кулака-старовера. Бандиты имели подземные ходы, телефон и электричество, а в момент разоблачения пытались спрятаться в гробах.

Террор не прекращался. Враги решили сорвать празднование Первого мая, нагоняя ужас на жителей города новыми кровавыми расправами.

Так Фурманов получал первые уроки классовой борьбы. Темные силы протягивали свою руку и к нему, чтобы совратить его и утопить в болоте политической демагогии.

В конце апреля Дмитрий Андреевич познакомился с руководителем иваново-вознесенских эсеров Саловым, подрывные речи которого он уже не раз слышал на различных митингах и собраниях. Салов был белобрысым человеком средних лет, носил пенсне с черным шнурочком. Во время выступлений и споров он смотрел обычно вниз, словно боясь глядеть в глаза тем, к кому обращался со словами, насыщенными ложным пафосом.

Произнося речи, он строил гримасы и отчаянно жестикулировал. С его уст так и летели слова: «Мы, рабочие, мы... Мы за Временное правительство, за войну до победного конца, за оборону!»

Слушая Салова, Фурманов настороженно относился к нему, очень уж резали слух напыщенные, крикливые фразы этого оратора, любовавшегося своим «красноречием». Но познакомившись с ним, Фурманов скоро попал в его сети. Салов приглашал Фурманова к себе домой, где, кстати сказать, совсем и не пахло рабочим духом, а отдавало старьем, нафталином, мещанской плесенью.



Салов вкрадчиво говорил:

— Ведь ты поэт, и должен чувствовать, в какое золотое время нам выпало счастье жить! Царя свергли! У власти — мудрый Керенский! Идет эра всеобщего братства и равенства! Не пора ли тебе подумать о партийной принадлежности? С твоим пылким умом нельзя стоять в стороне от великих событий.

— Я уже думал, — ответил Фурманов. — 9 марта мне пришлось быть на собрании социал-демократов. С тех пор я, кажется, симпатизирую программе большевиков.

— Большевиков?! — изумленно крикнул Салов. — Роковая ошибка! Большевики могут привести народ только к бездне, к хаосу. Подумай сам: сейчас, когда свергнут царь, когда мы, народ, должны с оружием в руках отстоять от иностранных армий обновленную Россию, большевики агитируют против Временного правительства! А? Что ты на это скажешь?

Фурманов не знал, что ответить. В каждой новой беседе Салов искусно ставил его в тупик, убеждая, что только эсеры верны революции.

В мае Фурманов вступает в партию эсеров, едет с докладами по деревням, веря, что крестьяне встретят его приветливо. Но на деле оказалось совсем иное. В деревне он увидел и понял, что нет крестьян в каком-то едином, монолитном виде. «Деревня расслаивается», — делает он для себя вывод. Большинство крестьян было против войны и не хотело слышать о продолжении войны «до победного конца», к чему призывало Временное правительство, а вместе с ним и эсеры.

Вернувшись из поездки по деревням, Дмитрий Андреевич пошел к Салову и заявил ему, что он решительно порывает связь с эсерами.

— Ты большевистский агент! Ты хочешь взорвать нашу партию изнутри! — вскипел Салов.

— Думайте обо мне как угодно, — твердо заявил Фурманов, — но в Керенского я больше не верю и агитировать за войну не собираюсь.

— Большевикам поддался! — кричал Салов с обычными для него гримасами и жестами. — Народ за большевиками не пойдет! Мы знаем им цену.

Фурманов, до того казавшийся спокойным, не выдержал. Его щеки побагровели, глаза засветились гневом.

— Вы, Иван Алексеевич, не бросайтесь словом «народ». Я с каждым днем убеждаюсь, что рабочие и крестьяне правду видят только в большевиках, а мы, интеллигенты, оказались совсем неподготовленными к революции и даже боимся признать свою слабость.

— Большевик! Предатель! — визгливо кричал Салов.

— Я не большевик! — отрезал Фурманов. — Если хотите знать, мне до них далеко. Но я восхищен их стойкостью и выдержкой. Впрочем, вы меня все равно не поймете: наши дороги разошлись.

Давая анализ своим поездкам по деревням с мандатом от местного комитета эсеров, Дмитрий Андреевич делает далеко идущие выводы. Во-первых, он понял, что проповедует ложные идеи, чуждые народу, что лозунг «война до победного конца» нужен только русским помещикам и буржуазии. 2 июля в его дневнике появляется запись: «В тактике, в вопросе по отношению к земле, по отношению к фабрике я стал близок к большевикам».

Чудесной чертой в характере Фурманова было беспощадное, самокритичное отношение к своим действиям. Будучи человеком ищущим, он не боялся признаться перед собой и людьми в тяжелых ошибках. Он быстро разглядел позерство и демагогию эсеров и порвал с ними навсегда.

16 июля он пишет в дневнике: «Надо уж говорить откровенно: до революции ничего-то мы не знали про политическую борьбу... потому что нельзя же считать политическим образованием нашу «эрудицию», почерпнутую в «Русском слове». И вот с первых дней мы дело себе представляли весьма просто: свергли царя, поставили новых министров, ну и дело с концом.

Как будто черная сотня разбита, как будто у демократии с буржуазией одинаковые цели... Теперь, почти через 5 месяцев постоянной, напряженной работы, постоянных споров, бесед, чтений и лекций, — теперь многие стали примечать свои первоначальные ошибки...

И нечего стыдиться, друзья! Смело заявляйте о своем переломе, это только засвидетельствует ваше честное отношение к исповедуемой истине...»

Никто теперь не убедил бы его в добрых намерениях Временного правительства. Однако Фурманова ожидала новая ловушка. Он попал в плен анархических настроений. Горячий, решительный, он бесплодно расточал свою энергию. Мечтая ближе стать к народу, служить его интересам, Фурманов и теперь растерялся.

Жизнь в городе развивалась так стремительно и бурно, что Дмитрий Андреевич, в прошлом не связанный с революционным движением рабочего класса и тем более с революционным подпольем, день ото дня все глубже понимал свои заблуждения и ошибки. То, что вчера ему казалось истиной, сегодня вызывало горькое разочарование.

Когда читаешь его дневники, то чувствуешь, с какой болью в сердце анализировал он и проклинал свои увлечения взглядами эсеров и анархистов. Фурманов настойчиво искал верный путь и с новым приливом энергии шел все ближе к рабочему классу, к большевикам.

В этом переломе огромную роль сыграла его практическая работа в Совете рабочих и солдатских депутатов. Совет стал для него настоящей школой классовой борьбы, открыл ему глаза на сущность антинародных партий и помог до конца очиститься от всей наносной шелухи.

Иваново-вознесенские большевики видели в Фурманове честного человека и старались ему помочь. Большое влияние на него оказал большевик Василий Петрович Кузнецов, вернувшийся в город после долголетней ссылки. Василий Петрович был первым председателем Иваново-Вознесенского Совета. Кузнецов говорил просто, не умел дипломатничать и нравился рабочим-текстильщикам своей прямоотой, убедительной силой бывалого агитатора.

Кузнецов посоветовал Дмитрию Андреевичу почаще заходить в Совет.

— Если хочешь служить народу, рабочему классу,— сказал он,— не чуждайся Совета, поварись в народном котле.

— Да разве я был когда-нибудь против этого, Василий Петрович? — ответил Фурманов. — Мне бы только дело по душе дали...

— Ишь ты какой! — воскликнул Кузнецов. — Пора бросать старые интеллигентские замашки. Дай ему дело по душе! Ну, а если не по душе! Мы, большевики, за любое дело беремся, если оно на пользу рабочему классу!

Дмитрий Андреевич понимал, что его учат и требуют от него выдержки, революционной собранности и готовности жертвовать во имя революции личными интересами.

В августе 1917 года Фурманова кооптировали в члены Иваново-Вознесенского Совета, и с тех пор он почувствовал себя совсем другим человеком. Практическая работа в Совете все больше открывала ему глаза на лживые и лицемерные программы антинародных партий.

Начались дни напряженной работы, бессонных ночей, когда большевики и вместе с ними Дмитрий Андреевич по несколько суток не бывали дома, до полуночи сидели в Совете, дежурили, отдавали распоряжения, принимали донесения, спорили, на голодный желудок курили махорку и, обессиленные, ложились спать прямо на голых столах или сдвинутых стульях.

Фурманов вскоре выступил на общем собрании Совета с докладом о контрреволюционном заговоре Корнилова. По его докладу была принята резолюция большевиков. Опасность корниловщины миновала, но провокации чинились одна за другой. Черносотенцы, видя в Совете своего заклятого врага, распускали темные слухи, сеяли панику, стремясь подорвать его авторитет в народе. Но Совет уверенно осуществлял свое руководство городом. Это происходило потому, что во главе Совета стояли испытанные большевики, делившие и радость и горе вместе с рабочими.

Характеризуя работу Совета, Фурманов 7 сентября так записал в дневнике: «Целый день Совет кишит приходящими, целый день надо успокаивать, разъяснять, помогать. Взволнуется ли народ из-за голода, не хватает ли на фабрике подмастерьев, забастуют ли типографии... появятся ли в

городе погромные слухи, — все эти нужды и требования стекаются в Совет... Доверие к Совету огромное».

Редко проходил день, когда большевики, руководящие работники Совета, не выступали бы на двух-трех митингах или собраниях рабочих. Вместе с ними шел к рабочим и Фурманов, делая доклады и читая лекции то среди железнодорожников Иваново-Вознесенска и Шуи, то среди крестьян разных деревень. Так, 27 сентября на заседании исполкома Совета Фурманов выступил с двумя докладами. Один из них был посвящен итогам Всероссийского демократического совещания, другой — культурно-просветительной работе среди рабочих и солдат.

В те дни у него, как говорится, дух захватывало от бесчисленных поручений, обязанностей, споров, бесконечных раздумий и, казалось, не было уже ни одной минуты для личных дел.

Но и в этой мчащейся колеснице событий он не мог, конечно, забыть свою подругу Аню Стешенко. Где-то она теперь? Что с ней, да и жива ли? — с грустью думал он. И все же думы о невесте и мечты о личном счастье тут же исчезали, словно он мог лишь на какое-то мгновение увидеть яркий, красивый морской берег, моментально пропадавший в штормовом натиске моря.

На долю Дмитрия Андреевича выпало счастье первым в Иваново-Вознесенске узнать о свержении Временного правительства. Вот как это произошло.

25 октября в шесть часов вечера Совет рабочих и солдатских депутатов Иваново-Вознесенска собрался на очередное заседание. Бурно шло обсуждение вопросов повестки дня, спорили, горячились. Но чувствовалось, что даже за таким необычно оживленным разговором скрывается ожидание чего-то более важного, о чем говорить пока было нельзя, а оно уже рвалось из груди, из сердца.

Во время шумных споров Фурманов по поручению руководителей Совета покинул заседание и направился на телеграф. Вскоре он вернулся, сел на свое место, но через несколько минут снова исчез, чтобы разговаривать по телефону с Москвой. После длительных звонков и требований Иваново-Вознесенск соединили с Москвой, с редакцией газеты «Известия».

— С вами опять говорит Фурманов по поручению Иваново-Вознесенского Совета. Скажите, что у вас нового?

Фурманову ответили. Он резким движением повесил трубку и опрометью бросился бежать на заседание Совета. Телефонисты, наблюдавшие за Фурмановым, многозначительно переглянулись и, не проронив ни одного слова, продолжали свою работу. Только один из них, с напوماженными волосами и в накрахмаленном воротничке, брезгливо произнес:

— Сумасшедшее время!.. Сумасшедший человек!..

А Фурманов между тем спешил в Совет. Он не обращал внимания на встречных людей, на грязь под ногами. Его ум сейчас работал только в одном направлении: как, какими словами сообщить новость. Но вот уже рядом бывший особняк Полушина. Вот и часовые, стоящие у входа в здание Совета. Теперь уже некогда думать, какими словами сообщить о величайшем событии. Дмитрий Андреевич, возбужденный, с горящими глазами, вбежал в зал. Энергичным жестом руки он заставил всех замолчать и, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Товарищи! Временное правительство свергнуто!..

В зале раздались неистовые возгласы. Кто-то, стараясь перекрычать всех, призывно крикнул: «Интернационал!» И зазвучали победные звуки революционного гимна...

Позднее в очерке «Незабываемые дни», напечатанном в газете «Рабочий край» в 1922 году, Фурманов так писал об этом памятном дне:

«Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся новой силой, с таким горячим, захлебывающимся порывом, с такою целомудренной, глубокой верой в каждое слово —

Вставай, проклятьем заклеянный,  
Весь мир голодных и рабов!  
Кипит наш разум возмущенный  
И в смертный бой вести готов...»

Тогда же на заседании Совета был создан Штаб революционных организаций, куда вошел

и Фурманов. Штаб должен был наводить революционный порядок в городе. В его распоряжении находились все вооруженные силы.

Дел оказалось много. Уже на второй день после свершения Октябрьской социалистической революции почтово-телеграфные работники, подстрекаемые эсерами и буржуазной интеллигенцией, учинили саботаж. Но Совет, большевики быстро справились с саботажниками и провокаторами. Иваново-Вознесенск стал крепостью, отстаивающей победу Великого Октября.

---

## Твердыня — убеждение

Саботаж почтово-телеграфных работников создал серьезную угрозу нормальной работе учреждений. Город оказался без связи не только с Москвой, но и с ближайшими населенными пунктами. 27 октября почтовики прекратили работу, потребовав от Совета снять рабочий контроль за их деятельностью. В Штаб революционных организаций был вызван один из главарей саботажа, которому категорически предложили дать свои объяснения. Матерый саботажник вызывающе заявил, что почтовики признают только Временное правительство. Тогда ему сказали:

— Советская власть не потерпит изменников народа. Даем вам срок подумать до завтрашнего вечера, а затем вы обязаны доложить в Совет свои позиции.

Главарь саботажников ушел. На следующий день почтовики к работе не приступили. Революционным рабочим ждать больше было нечего. 28 октября саботажников арестовали. В то же время срочно подбирались люди для работы на почте и телеграфе. Фурманов с группой товарищей отправился к арестованным, чтобы убедить их вернуться на работу.

— Главная наша задача — разъяснить саботажникам, как велика разнородность интересов в их собственной среде,— говорил Фурманов своим товарищам, когда они шли к арестованным.— Я уверен,

что все это сделали несколько кадетски настроенных мерзавцев, а что касается подавляющего большинства — это обманутые и запуганные люди, которые не сегодня-завтра будут вместе с нами.

Выступление Фурманова перед саботажниками произвело на них ошеломляющее действие. Наутро почтовиков освободили из-под ареста, но целую ночь вместо них на телефонной станции трудились рабочие, впервые вставшие к телефонной аппаратуре. В ту ночь было и горько и смешно.

Вот как Фурманов описал в дневнике работу телефонной станции:

«Звоню в центральную:

— Эй, кто там?

— Я, Ванюха... А это кто спрашивает, ты, что ли, Дмитрий Андреевич?

— Я... Я... Поторопись-ка 88-й номер.

— Ладно, устрою... А что у вас там, все ли в порядке в Совете?

— Все, все, ты поторапливайся...

Долго ищут они, где ткнуть, куда нажать... Наконец минут через пять звонят:

— Ты слушаешь, Дмитрий Андреевич?

— Слушаю, слушаю, да поскорее вы, черти...

Чего вы там копаетесь!..

— Эка, копаетесь, тебя бы посадить сюда...

Таким образом путаешься иной раз минут 10—15. Наконец добьешься, кончишь говорить, а Ванюха только и ждал — тут же звонит из центральной:

— Что, поговорил?

— Поговорил, Ванюха, спасибо...

— Вот то-то и дело-то, а ты все бранишься...

Таким образом идет работа.

Рабочие вынуждены хвататься за все».

Так в активной деятельности проходили день за днем. Приехала в Иваново-Вознесенск Аня Стешенко. Встреча была радостной, но непродолжительной. Аня снова уехала в Екатеринодар. Опять потянулись дни разлуки. Но оба они верили в скорую встречу.

И снова Фурманов закружился в вихре событий. Его практическая работа в Совете становилась все более активной. Он уже не представлял себе жизни без связи с советской работой. Дмитрий Андреевич принимал участие в национализации купеческих



особняков. Однажды нужно было найти помещение для районного Совета. Фурманов с товарищами обошли пять-шесть особняков, пока выбор не пал на дом богатого фабриканта. На пороге их встретила растерянная барыня, которой они сказали:

— Мы члены исполнительного комитета. Пришли осмотреть ваш дом, чтобы занять его под районный Совет.

— Пойдемте... Пожалуйста...— прошипела барыня.

Они долго ходили по дому, но в большинство комнат не могли попасть. Им говорили, что нет ключей.

— Придется взломать,— заявил Фурманов.

На фабрикантшу это подействовало: ключи нашлись. Обращаясь к управляющему домом, представители Совета заявили:

— Убраться надо.

— Убраться, говорите, надо? — недовольно спросил управляющий.— Здесь ведь не нищие живут. Чтобы выехать, потребуется больше месяца.

— Ах, так вам месяц нужно?.. Ну, нам ждать некогда, завтра же утром придем красногвардейцев и все повыкидываем на двор.

— Нет, зачем же? Мы погорячились,— взмолился управляющий.

На сборы потребовалось не много времени. Через два дня особняк очистили.

Фурманов почти каждый день имел поручения от Совета и выполнял их с радостью, зная, что все это делается в интересах рабочих и крестьян.

В то бурное революционное время стали крепнуть и творческие силы Дмитрия Андреевича. В его стихах, рассказах и публицистических статьях зазвучала тема борьбы народа за свое освобождение. В «Легенде об унглах» он поет гимн народу, сбросившему со своих плеч ярмо угнетателей, рассказывает о том, какой ценой завоевал народ право на счастье. «Много унглов,— писал он,— сорвалось по откосам и срывам в черные бездны... Но те, что добрались к вершине,— навеки остались жить в светлом царстве...»

Фурманов понимал, что борьба народа еще далеко не закончена. В декабре 1917 года он напечатал стихотворение «Клич» с пламенно-призывными строчками:

Смыкайте ряды, поднимайте знамена,  
Решительный час настает.  
Под грозную песню мучений и стона  
Смыкайся, страдалец-народ.  
Под красное знамя, за вольную волю,  
За мир, обновленный в крови.  
За новое счастье и новую долю  
В чертогах вселенской любви!

Выступления Дмитрия Андреевича в печати и на различных собраниях становились день ото дня принципиальнее. Так, 25 февраля 1918 года в Иваново-Вознесенске состоялось внеочередное заседание Совета, на котором присутствовало много рабочих. Обсуждался вопрос о войне и мире. Эсеры, которых давно уже выгнали из Совета, подослали на заседание двух своих агентов. После их провокационного выступления разгорелись жаркие споры. Все выступавшие потребовали, чтобы эсеры немедленно удалились с заседания. Выступил и Фурманов, слова которого прозвучали с большой силой и страстностью.

— Меня возмущает, — заявил он, — подлость эсеров. Когда мы изнывали от непосильной тяги, эсеры стояли сложа руки в стороне, смеялись, глумились, проклинали, плевали на нас. А теперь, когда мы, усталые, собрались, быть может, в предпоследний раз, чтобы решить, которая смерть славнее и нужнее великому делу — на фронте или здесь, вы, как крысы, пробрались в наше святилище со своими провокациями. Я требую, чтобы эсеры немедленно удалились с заседания Совета.

В феврале 1918 года председателем губисполкома был избран Михаил Васильевич Фрунзе, а с апреля Фурманов стал товарищем председателя. Фрунзе оказал громадное влияние на Дмитрия Андреевича. «Беседы с ним, — писал впоследствии Фурманов в автобиографии, — расколотили последние остатки анархических иллюзий».

В начале июля между Фурмановым и Фрунзе состоялась откровенная беседа.

— Ведь вопрос для вас ясен, товарищ Фурманов? — сказал Михаил Васильевич. — Вся ваша работа в Совете говорит за то, что вы, не состоя членом большевистской партии, все время проводили ее линию. Что же вас еще смущает?

Фурманов взволнованно ответил:

— Михаил Васильевич, я ведь всю революцию работал в Совете, пережил все этапы развития Советской власти. Эта работа стала мне родной и близкой.

— Знаю,— сказал Фрунзе.— Ну, а теперь, когда тянуть больше нельзя, как решаете вы? Может быть, бросите работу в Совете?

Волнение охватило Фурманова еще сильнее, он страстно ответил:

— Бросить работу в Совете сейчас, в такое тяжелое время?! Нет, Михаил Васильевич. Я навсегда с вами.

Фрунзе улыбнулся:

— А ведь я был в этом уверен. Я все время следил за вами, за вашей работой и поэтому с легким сердцем рекомендую вас в нашу партию.

3 июля Дмитрий Андреевич записал в дневнике: «Теперь прибило к мраморному, могучему берегу — скале. На нем построю я свою твердыню — убеждение. Только теперь начинается моя сознательная работа, определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба с классовым врагом. До сих пор это было плодом настроений и темперамента; отседа это будет еще — и главным образом — плодом научно обоснованной, смелой теории».

Через два дня, 5 июля 1918 года, Фурманов опубликовал в «Рабочем крае» свое заявление о полном разрыве с группой анархистов и о вступлении в Коммунистическую партию. В тот же день он записал в дневнике: «Будут вопросы, запросы, насмешки, подозрения, восхищения...— все будет. Но раз твердо решившись — я сделал свое. Были и колебания, была неуверенность, но события, думы, разговоры — гнали меня неизбежно к берегу коммунизма. Не хватало только смелости заявить открыто. Теперь все кончено. Теперь Дм. Фурманов — коммунист-большевик».

В тяжелые для молодой Советской страны дни вступил Фурманов в Коммунистическую партию. Контрреволюция и иностранная интервенция стремились уничтожить диктатуру пролетариата в зародыше. Рабочие-текстильщики становились под ружье, обучались военному искусству, чтобы по первому зову партии идти на фронт.

Дмитрий Андреевич проявляет небывалую энергию. Он выступает с докладами среди рабочих на предприятиях, идет к красногвардейцам, пишет статьи в «Рабочий край» по самым острым и волнующим вопросам.

В Иваново-Вознесенск приехала Аня Стешенко и стала женой Дмитрия Андреевича. Однако вскоре она снова едет в Екатеринодар к матери, а Фурманов по-прежнему с головой уходит в работу.

С сентября он работает в аппарате окружного комитета партии. Здесь на ответственных постах тогда находились испытанные большевики — Ф. Н. Самойлов, С. И. Балашов и другие. Все они доверяли Фурманову и поручали ему решать сложные вопросы партийного строительства. Насколько напряженной, кропотливой была в то время деятельность Фурманова, видно из следующей хроники событий:

13 сентября он находился в Шуе и проводил партийное собрание.

22 сентября в Кинешме руководил уездным съездом коммунистов, на который собралось до 300 человек. Заседание съезда длилось непрерывно 17 часов, с двух часов дня до утра.

Через пять дней Дмитрий Андреевич приехал в Лежнево, чтобы провести собрание партийной ячейки. Многие товарищи жаловались ему:

— Наша ячейка существует несколько месяцев, а до сих пор не утверждена в окружкоме.

— Приезжайте к нам,— заявил Фурманов,— в понедельник, тридцатого числа. Все будет сделано.

Через два часа после заседания ячейки Дмитрий Андреевич уже выступал с лекцией «Как борются рабочие и крестьяне за социализм».

В полночь на изголодавшейся лошаденке Фурманов и еще один товарищ выехали в Тейково, чтобы оттуда поездом вернуться в Иваново-Вознесенск.

«Ночь была мокрая, скользкая, грязная,— вспоминал Фурманов.— Лил дождь, по небу кочевали мутно-серые облака. Я закутался в халат и одну руку держал в кармане, придерживая револьвер. Товарищ спал, свернувшись, как котенок. Дождь разошелся не на шутку, дорога страшно набухла. Через четыре часа заблестели огни славного Тейкова...»

30 сентября Дмитрий Андреевич был уже в Кох-ме, делал доклад перед собравшимися коммунистами о работе окружного комитета.

Так за короткое время Фурманов несколько раз выезжал в фабричные города и рабочие поселки, и всюду бессонные ночи, небезопасный путь и недоедание...

Собрания, съезды, митинги, лекции проходили всюду. Иной раз нельзя было вовремя прибыть на место. Так произошло с выездом в Вичугу. В окружке слишком поздно оттуда получили телеграмму: «1-го районный съезд. Высылайте своего представителя». Окружком предложил поехать Фурманову, однако поезд на Вичугу уже ушел, а ехать на лошади было бесполезно: приехал бы он туда только на следующий день. Фурманов сообщил по телефону:

— Отложите начало съезда до шести часов вечера. Могу выехать только с товарным поездом.

Но и товарного поезда в это время не оказалось, пришлось снова звонить:

— Отложите до полуночи, выезжаю с вечерним поездом.

Районный съезд партии состоялся в Вичуге только ночью.

Были и такие случаи, когда на местах приходилось сталкиваться с безответственным отношением к организации партийных мероприятий. 4 октября Фурманов приехал к себе на родину, в Середу, на уездный съезд коммунистов. Обращаясь к секретарю укома, он спросил:

— Объявлено ли, где состоится съезд и когда?

— Нет, пока не объявлено.

— А рано ли думаете открыть съезд?

— В четыре часа.

— Как в четыре?! — удивился Дмитрий Андреевич. — Да уж сейчас три! А повестка дня готова?..

— Нет еще, — ответил секретарь укома.

— Когда же вы будете ее составлять?

— А право не знаю!.. Мы хотели часика в три собраться да покумекать на этот счет... Я ведь один не могу... Из-за перегруженности в работе...

— Да ну вас к черту с перегруженностью! — возмутился Фурманов. — Не игрушкой ли вы считаете уездный съезд? Дайте-ка мне бумаги!

На одном из листков Дмитрий Андреевич написал объявление о месте и времени съезда, на другом — повестку дня.

«Открыли съезд,— записал потом Фурманов в дневник,— часов в пять. Без перерыва сидели до 10 и кончили пением революционных песен. Настроение таково, что лучше желать нечего. Всюду по волостям коммунисты организуются, утверждают, разгоняют кулацкие советы...»

25 октября на губернской партийной конференции Фурманова избрали членом губкома РКП(б). Председателем губкома стал М. В. Фрунзе, а Дмитрия Андреевича выбрали секретарем. Потом в своей автобиографии Фурманов писал: «Эта на первый взгляд странная быстрота в деле назначения меня секретарем губкома партии объясняется тем обстоятельством, что... я уже с конца 17 года проводил на практике определенно большевистскую линию. Это знали и учитывали руководящие тогда большевики (Фрунзе и др.)».

На посту секретаря губкома РКП(б) Фурманов с неослабевающей энергией продолжает выполнять партийные поручения. Он каждый день выступает среди рабочих. Дмитрий Андреевич был замечательным оратором и вдумчивым пропагандистом. Однажды ему пришлось выступать на митинге рабочих бывшей Зубковской фабрики. Партийная организация этого предприятия насчитывала лишь 16 человек.

— Это очень хорошо, что пришли вы,— сказал один из коммунистов, обращаясь к Фурманову.— Постарайтесь поглубже объяснить нашим рабочим причины трудностей, голода: ведь у нас много женщин, они очень устали.

Фурманов выступил. Его слушали внимательно. Окончив речь, Дмитрий Андреевич спросил:

— Какие будут вопросы?

И тут из толпы вышла пожилая худенькая женщина, которая нервным голосом крикнула:

— Хлеба!.. Вот вам вопрос! Хлеба!..

Фурманов что-то начал было объяснять, но женщина резко перебила его:

— Хлеба!.. Довольно словами кормить!..

Фурманов молча ждал, как будут реагировать на эти реплики другие рабочие. Потом спокойно сказал:

— Товарищи! Мы знаем, что вы устали от голода. Но не думаете ли вы, что мы, коммунисты, едим слаще вас? Идемте хоть сейчас ко мне на квартиру или к другим партийным работникам, и, если вы обнаружите у нас фунт муки или осьмушку сахара, делайте с нами что угодно.

Пожилая женщина уже не перебивала Фурманова. Все слушали его внимательно. Вслед за Дмитрием Андреевичем выступили местные фабричные коммунисты. Митинг прошел организованно, рабочие спокойно расходились по домам.

Вернувшись с митинга, Фурманов записал в дневнике о фабричных коммунистах: «Их мало... И все-таки они держатся героями. Молодцы, ребята. Мало вас, коммунисты, зато хорошие вы, честные люди и твердо-смелые борцы».

В декабре 1918 года губком партии, по рекомендации М. В. Фрунзе, командировал Фурманова в Ярославскую губернию для срочной работы среди артиллерийских частей. Командировка была, по признанию Дмитрия Андреевича, опасной и жуткой: кулацкий обрез или эсеровская пуля подстерегали на каждом шагу.

Фурманов прибыл в Ярославль с группой товарищей-коммунистов. Затем он побывал в Ростове, Рыбинске, Пошехонье и всюду вел инспектирование местных военных комиссариатов. Он собирал по два-три митинга в день, беседовал с красноармейцами особенно в тех частях, где примазавшиеся кулаки и эсеры пытались спровоцировать бойцов. За политическую работу, проводимую в воинских частях, он получает благодарность от М. В. Фрунзе.

Как только встал вопрос о защите Советской республики от иностранных армий и контрреволюции, Фурманов, не колеблясь, решил уйти добровольцем на фронт. Дмитрий Андреевич считал, что ему надо быть именно там, где решалась судьба великих завоеваний Октября. Он ни за что не хотел оставаться в тылу.

Фурманову была неизвестна судьба жены: в Екатеринодаре хозяйничали белые и от Ани не поступало никаких писем. А как мечталось вместе с ней поехать на фронт! Он твердо верил, что Аня может стать настоящей боевой подружкой. Иной раз ему

казалось, что надо отправиться на поиски жены, помочь ей выбраться из белогвардейских засад, но в то же время он понимал, как бесплодна и гибельна такая затея. Дмитрий Андреевич записал в дневник следующее:

«Из Екатеринодара вести одна другой печальнее, и судьба Наи под большим вопросом. Только одно узнать бы: жива ли?.. Искать Наю едва ли поеду: слишком трудна эта затея, много препятствий. На работе заменить совершенно некому. Пути хорошенько не представляю; ехать, можно сказать, не на что; опасность попасть в лапы белогвардейцам огромная.

И из-за чего попасть, из-за чего погибнуть, из-за личного дела? Это недостойно революционера. Общественной подкладки здесь нет, исключительно свое, исключительно узко личное: поиски любимой женщины. А ведь голова моя еще нужна, несомненно нужна тем, за кого стою. И если понадобится принести себя в жертву святому делу — полагаю, что не дрогнет душа. Я часто спрашиваю себя: хватит или нет у меня мужества погибнуть за дело революции — и всегда убеждаюсь, что хватит...»

Дмитрий Андреевич твердо решил, что его очередная дорога — это фронт! Много, чрезмерно много неотложных дел ложилось на плечи каждого коммуниста в тылу, но там, на фронте, решалась судьба революции. Фурманов не боялся смерти. «Нам смерть не страшна: красивей этой смерти — смерти нет», — записал он в дневник, утверждая свое стремление защищать Родину с винтовкой в руках.

---

**Здравствуй, новое,  
неизведанное!..**

Наступил новый, 1919 год. Вокруг свирепствовал голод, и тысячи людей жались от стужи в длинных очередях, чтобы получить фунт мороженой картошки или воблы.

В городе создавалась безработица, а на пуск замороженных фабрик, стоявших из-за отсутствия хлопка



и топлива, новый год не принес никаких надежд. Все знали одно: если бы Советская республика обрела мир, то были бы и хлеб и ситец. Все понимали, что, пока не уничтожена контрреволюция, пока не выброшены с родной земли иностранные армии, счастья не будет.

В эти дни в Иваново-Вознесенске и думали, и говорили только об отправке на фронт рабочего отряда. Женщины собирали платья, отрезы ситца и шили будущим бойцам необходимые вещи. Мужчины упражнялись на морозе с винтовками. В отряд шли все новые добровольцы.

Фурманов не замечал, как пролетали дни. Он выступал с докладами, проводил митинги, писал новые корреспонденции в «Рабочий край». Теперь, где бы он ни был, чтобы ни делал, все думы были связаны с предстоящей поездкой на фронт.

В Иваново-Вознесенске было уже известно, что М. В. Фрунзе назначен командующим 4-й армией Восточного фронта, и Фурманов решил быть вместе со своим учителем.

Поздно вечером 9 января он пришел домой из губкома. Тяжело было на душе от женских слез, от бессилья помочь голодающим. Фурманов восторгался мужественной силой духа рабочих людей. Он видел, как рабочие с любовью собирают своих лучших товарищей на фронт, отдают им все, что только могут. В этот вечер Дмитрий Андреевич записал в дневнике:

«...Я уезжаю на фронт... Мы едем туда на большое, ответственное, опасное дело...

Оставляю дорогое Иваново. Сколько тут было положено труда, сколько тут было пережито радостей и страданий! Здесь впервые получил я политическое крещение, здесь понял правду жизни, осветил ею свою юную душу и загорелся...

Вот уже скоро два года, как горю, горю, не угасая. Как робки, неопытны были мои первые революционные шаги! Как тверды, спокойны, уверенны они теперь! Неизмеримо много дали мне эти два года революции! Кажется, целую жизнь не получил бы, не понял бы, не пережил бы столько, сколько взято за время революционной борьбы... И теперь, оставляя тебя, мой родной черный город, я жалею об од-

ном — что не буду жить и работать среди рабочей массы... Привык, сросся... И отрываясь — чувствую боль...

Прощай же, мой черный город, город труда и суровой борьбы! Не ударим мы в грязь лицом, не опозорим и на фронте твое славное имя, твое геройское прошлое... Прощай же, прошлое — боевое, красивое прошлое! Здравствуй, грядущее, здравствуй, новое, неизведанное — еще более славное, еще более прекрасное!»

Наутро снова в губкоме, и опять собрания, митинги, встречи с рабочими по фабрикам, подготовка к отчетному докладу на губернской конференции РКП(б), а дома, перед сном, записи в дневник: «Уже все мысли, все думы мои сосредоточились на фронте, на фронтовой работе. Жду там богатых испытаний, большого, красивого, интересного труда».

Приближался день, когда М. В. Фрунзе должен был отправиться на фронт. Коммунисты города решили устроить ему проводы в клубе, который находился в первом этаже губкома РКП(б).

По вечерам в клубе обычно собиралось много опытных партийцев и молодых коммунистов. На проводы Фрунзе 22 января пришли и беспартийные товарищи.

Собрание открыл Фурманов. В своей речи он говорил о заслугах Михаила Васильевича перед революцией, заявляя, что все истинные большевики будут вместе с Фрунзе на фронте.

После официальной части все спустились дружной гурьбой в полуподвальное помещение, где находилось так называемое «кафе» клуба коммунистов. Здесь в связи с исключительным событием всех ожидал ужин, состоявший из тоненьких бутербродов, паточного, черного как смола, печенья и морковного чая с сахарином. Тут же было решено, что самые близкие товарищи, человек двадцать, соберутся вместе с Фрунзе в доме Фурманова.

Угощать, правда, было нечем: большая семья Фурмановых голодала в то время так же, как и рабочие семьи.

— Не горюй, Митяй, — говорили Дмитрию Андреевичу, — главное, вскипяти большой самовар, а сахарину мы с собой принесем.

Ожидая в тот вечер друзей, Фурманов перебирал в памяти все встречи и беседы с Михаилом Васильевичем... Ведь Фрунзе для него был тем человеком, который помог ему найти правильный путь в жизни, дал ему рекомендацию для вступления в партию. И вот сейчас, когда Фрунзе должен был уехать на фронт, Дмитрий Андреевич невольно вспоминал все, что было связано с именем его учителя. Ему вспомнилась первая встреча с Михаилом Васильевичем. Это было в 1917 году. Фурманов сразу почувствовал, что Фрунзе — человек большой духовной красоты, принципиальности и выдержки.

Фрунзе работал тогда председателем Шуйского Совета. Тем не менее ни одно крупное мероприятие в Иваново-Вознесенске не обходилось без его активного участия. Особенно это проявлялось в делах, связанных с подготовкой организации новой Иваново-Вознесенской губернии. Этому вопросу были посвящены различные съезды. И вот на одном из таких съездов Фурманов впервые увидел Фрунзе.

Слова Фрунзе, его жесты были безыскусны и естественны. Весь облик его: добрые глаза, чистое лицо и темно-русые волнистые волосы — навсегда остался в памяти Дмитрия Андреевича.

В феврале 1918 года Фрунзе приехал в Иваново-Вознесенск проводить первое пленарное заседание губисполкома. Фурманов присутствовал на этом заседании. Он еще раз убедился в обаянии и силе этого испытанного руководителя революционных масс. Придя домой, Дмитрий Андреевич долго находился под впечатлением всего виденного и слышанного. Вот что он записал в дневник о Фрунзе:

«Это удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. Большой ум сочетался в нем с детской наивностью взоров, движений, отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки веселье заслоняется умом. Все слова — просты, точны и ясны; речи — коротки, нужны и содержательны; мысли — понятны, глубоки и продуманны; решения — смелы и сильны; доказательства — убедительны и тверды.

С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом — значит, что-нибудь будет сделано большое и хорошее». Едва ли можно еще где-нибудь найти

столь глубокую, столь сильную характеристику облика Михаила Васильевича Фрунзе...

Пока Фурманов готовился к встрече друзей и размышлял о своем учителе, в дверь постучались, и на пороге появились первые товарищи. В дом вошли Иван Ильич Андреев, работавший в чрезвычайном штабе во время подавления эсеровского мятежа в Ярославле, Иван Яковлевич Мякишев — старый подпольщик-революционер. Вслед за ними пришли губернский военный комиссар Афанасий Иванович Жугин и председатель губсовнархоза Павел Степанович Батулин. Остальные, а их было более двадцати человек, не заставили себя долго ждать. Фрунзе пришел одним из первых.

Каждый принес свою лепту на прощальный вечер. У кого-то оказались маленькие кусочки сахара, многие захватили по шепотке чаю, зная, что кроме чая, ничего особенного не будет; иные выкладывали на стол картофельные лепешки и другие «деликатесы» того времени.

Когда сели за стол и согрелись чаем, беседа ожилилась. Говорили о многом, но не уходили от главного — от военных вопросов. Ведь скоро им придется в огне войны столкнуться лицом к лицу с врагами.

— Встретимся ли? — обращаясь к друзьям, задушевно спросил Фурманов.

— Увидимся!.. Встретимся!.. — ответили товарищи.

«Увидимся, встретимся», — говорили все, но каждый знал, что в таком составе они больше никогда не встретятся и не поговорят...

Скоро, очень скоро стало известно, что Павел Степанович Батулин погиб на посту комиссара чапаевской дивизии, изрубленный вражескими шашками; погиб Иван Ильич Андреев — комиссар 22-й дивизии на Восточном фронте; изрубили враги и старого рабочего-подпольщика Ивана Яковлевича Мякишева, который был комиссаром грозного Пугачевского полка чапаевской дивизии...

Да, многих не досчитались друзья, когда кончилась гражданская война, но в тот прощальный вечер они не хотели себя терзать мрачными мыслями и на вопрос Фурманова твердо ответили:

— Увидимся!.. Встретимся!..

В ходе беседы за столом кто-то обронил:

— Тяжело...

Это слово не прошло мимо ушей всех присутствующих, ибо все переживали суровое, трудное время, все знали, что действительно тяжело.

— Ну что ж, тяжело,— спокойно сказал Фрунзе.— Может быть и тяжелее...— Фрунзе воодушевился и с жаром продолжал: — Нам бы теперь эту пробку откупорить, что под Оренбургом, а там прямая дорога к туркестанскому хлопку... Эх, хлопок, хлопок! Как бы ты разом вернул к жизни наши прирученные корпуса!..

Через несколько лет Фурманов в своих воспоминаниях привел эти замечательные слова Фрунзе, добавив к ним следующее:

«И когда мы потом очутились на фронте — казалось: самая острая мысль, самое светлое желание Фрунзе устремлены были именно к Туркестану. Лишь только «откупорили оренбургскую пробку» — Фрунзе сам помчал в Ташкент, и с какой он гордостью, с какой радостью сообщал тогда всем о первых хлопковых эшелонах, тронутых на север: видно, в этот момент осуществлялась лучшая, желаннейшая его мечта...»

Долго сидели друзья в тот прощальный вечер. Не хотелось расставаться, а время шло уже за полночь. Кто-то предложил спеть любимую песню Фрунзе.

Фурманов первым запел:

Уж ты, сад, ты мой сад,  
Сад зеленый мой...

Все друзья хором поддержали:

Ты зачем рано цветешь,  
Осыпашься...

Позднее, вспоминая об этом, Фурманов писал: «Пел и Фрунзе. Он положил голову на ладонь и подтягивал. Пел, а серые, умные глаза были свежи... видно было, что и за песней все работает — работает без перебоя его мысль, не оставляют его какие-то тревожные думы».

Когда все начали прощаться, Фурманов решил еще раз поговорить с Фрунзе. Оставшись наедине с Михаилом Васильевичем, он сказал:

— Михаил Васильевич, я вас очень прошу выполнить свое обещание.

— Какое? Ах да, знаю. Но нельзя же всем, кому-то надо работать и здесь.

— Нет, Михаил Васильевич, нет и нет. Вы же мне обещали!..

Наутро он говорил брату Сергею:

— Вчера Фрунзе окончательно утвердил мое желание быть на фронте. Что бы ни случилось, я еду воевать. А ты?

— Я уже сказал: я еду вслед за тобой. (Вскоре в Красную Армию ушли его старшая сестра Софья и брат Сергей.)

Через несколько дней после отъезда Фрунзе, 30 января, в городском театре состоялись проводы отряда иваново-вознесенских ткачей. Собрание открыл Фурманов, который и должен был возглавить отряд до места назначения. В ночь с 31 января на 1 февраля отряд покидал родной город.

У деревянного вокзала, похожего скорее на сарай, почерневшего от пыли и паровозной гари, собрались ивановские текстильщики, чтобы проводить своих лучших сынов и дочерей на фронт. Этим эпизодом, полным незастывающих красок и впечатлений, молчаливого героизма и дружеского юмора, напутственных восклицаний и прощальных слов, Фурманов впоследствии начал книгу «Чапаев». В «Чапаеве» он сохранил содержание своей прощальной речи:

«— Товарищи рабочие! — говорил он. — Остались нам вместе минуты: пробьют последние звонки — и мы уедем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте! Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову...»

И еще вам одно слово на разлуку: работайте! дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях, — везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да! Но если и не будет встречи — что тужить: революция не считает отдельных жертв...

Словно буйным бураном завывала снежная степь, — толпа зарыдала ответным гулом:

— Прощайте, ребята! Счастливы... Не забудем...»

В полночь, в непроглядную тьму уходил эшелон. Путь до Самары в «телячьих» вагонах-теплушках продолжался ровным счетом две недели. Что же делаешь, если поезд останавливали снежные заносы, держали на станциях, в тупиках, из-за отсутствия паровозов... Однако никто не жаловался на «тоску зеленую», никто не скучал, всем хватало дел, больших и малых.

«До Самары от Иваново-Вознесенска, — писал потом Фурманов в «Чапаеве», — ехали что-то очень долго... Что ни остановка — у эшелона бойкая работа. Весь долгий путь перемечен митингами, собраниями, заседаниями, самодельными лекциями, говорливыми беседами... Отряд ткачей-большевиков — толковых, строгих до себя ребят — весь путь пробродил глубоким и неожиданным впечатлением... Увидели сермяжники, жители малых городков, увидели, попросту сказать, хороших людей, которые их внимательно, спокойно выслушивали, на все вопросы мирно отвечали, что надо, объясняли умно и просто, по своей воле не шарили амбары, не вспарывали подвалам животы, ничего не брали, а что брали — за то платили. И крестьяне дивовались. Было это ново. Было это странно. Было это любо... Вот ехали теперь на фронт и в студеных теплушках, в трескучем январском холоду — учились, работали, думали... Потому что знали: надо готовым быть ко всему. И надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, здоровенной головой...»

Что же это за люди с «здоровенной головой», в которых Фурманов так верил и так горячо говорил и писал о них? Это были лучшие люди текстильного края. Они уходили на фронт с твердым убеждением: только победить. Отряд иваново-вознесенских ткачей-коммунистов создавался как «отряд особого назначения» при командующем 4-й армией Восточного фронта. С первых же дней его многие называли просто «отрядом Фрунзе», выражая тем самым любовь к Михаилу Васильевичу, испытанному организатору и вожаку революционных текстильщиков. В течение

нескольких дней из города выехало с этим отрядом 1200 человек.

Среди них были председатель губсовнархоза Павел Батулин, зампред райисполкома Алексей Лапин, работник мобилизационного отдела Ярославского военного округа Николай Хлебников. Тут же ехали совсем юные комсомолки Маруся Рябинина и Лида Челнокова и пожилые работницы, «посовавшие своих детей в приюты».

Отряд ткачей-коммунистов прошел героический путь в рядах чапаевцев и явился, по меткому выражению М. В. Фрунзе, «цементом» легендарной дивизии.

Фурманову пришлось жить и работать в совершенно непредвиденных условиях, решать задачи в сложной обстановке, стоять лицом к лицу с грозными, нередко катастрофическими событиями, когда «смерть стучала по вискам». В таких условиях среди интеллигенции нередки были случаи колебаний, разочарованности. Дмитрий Андреевич ни на минуту не поколебался. Став коммунистом, он мужественно, честно нес знамя настоящего большевика. Где бы ни был Фурманов, всюду его увлекали героизм, самоотверженность и стойкость простых людей, и он находил в них поддержку в самые, казалось бы, безвыходные минуты.

Вот и теперь, покинув родной Иваново-Вознесенск и следуя с отрядом ткачей на фронт, он заранее предвидел, с какими трудностями придется ему столкнуться в новых условиях. Он знал, что у врагов хорошо вооруженная армия, награбленное золото, иностранная помощь. У рабочих же не хватало оружия, не хватало продовольствия. Но это были люди полные энтузиазма, уверенные в своей победе. Фурманов смотрел на них и все больше убеждался, что такие люди никогда не отступят, никогда не подведут.

Дмитрий Андреевич пытливо изучал новую обстановку, думал о предстоящих вооруженных схватках с врагом, о методах политической работы среди бойцов. А в голове уже бродили мысли о мирном времени, когда он целиком отдаст себя заветной мечте стать писателем и совершит путешествие по далеким странам. 20 февраля 1919 года в его дневнике появляется интересная запись: «Отсюда, когда закончится работа, тронуться куда-нибудь вдаль, по странам



мира. Поехать в Японию, в Индию, а там — океаном куда-нибудь еще дальше. Затем вернуться в Европу, побыть в западных странах и потом... потом вернуться в родную семью. Вот мечта...»

Но пока это была только мечта, близкая или далекая — никто в ту пору сказать не мог, все зависело от исхода гражданской войны, а она бушевала кругом.

Когда отряд ткачей прибыл в Самару, М. В. Фрунзе немедленно вызвал в Уральск четырех ивановцев. Это были Дмитрий Фурманов, Иван Андреев, Павел Шарапов и Игнатий Волков. Они двинулись в путь на лошадях далеким круглым путем, через станции, близ которых шли бои.

По прибытии в Уральск остановились в гостинице. Гостиница уже давно не отапливалась, на окнах образовалась наледь толщиной с палец. Приходилось ежиться от стужи и спать в полушубках.

Поговорив с Фрунзе, ивановские коммунисты ясно представили себе картину боев с Колчаком. Вскоре прибыл из Самары отряд ткачей.

В городе происходило что-то непонятное. Всюду раздавались крики, стрельба. Ивановским товарищам пришлось срочно разбираться в обстановке.

Оказалось, что красноармейцы «вольных» крестьянских полков, только что изгнавшие из города белоказаков, тешили себя пальбой, забывая, как дорог каждый патрон.

В гостиницу, где остановился Дмитрий Андреевич, пришел Николай Хлебников. Он был одет в дубленый полушубок, при шашке и маузере. Николай выглядел настоящим воином. Несмотря на свою молодость, Хлебников носил густую бороду и пышные усы. Разыскав Фурманова, он обнял своего старого друга.

— Рад тебя видеть, Никола! — воскликнул Дмитрий Андреевич. — Ну как наши ребята добрались до Уральска?

— Хорошо! — ответил Хлебников. — А почему, Митяй, в городе палят, как в бою?

— Вас встречают, — засмеялся Фурманов, — салютуют вам!.. А впрочем, шутки в сторону. Дело ни к черту не годится, нет дисциплины, кое-кто разболтался, никого не желают слушать, вот и палят в воз-

дух да по заборам от радости, что белых прогнали, а завтра, глядишь, для врагов пуль не хватит.

— У командарма были? — поинтересовался Хлебников.

— Как же! — удовлетворенно ответил Дмитрий Андреевич. — Фрунзе принял нас, ивановцев.

— Ну и куда же тебя назначили?

— Пока состою для особых поручений при командарме-4.

— Вот как! — порадовался Хлебников. — А что же все-таки, Митяй, мы будем делать с этой пальбой на улицах?

К Фурманову и Хлебникову подошли еще несколько человек из отряда ткачей и договорились о наведении порядка в городе. В воинские части пошли лучшие агитаторы, и вскоре бесшабашная стрельба прекратилась.

Между текстильщиками и коренными жителями уральских степей завязалась настоящая армейская дружба. Ткачи-коммунисты были дисциплинированы, дружны, отзывчивы на чужое горе и очень скоро завоевали авторитет среди бойцов и населения.

Прибытие Фурманова в Уральск, а вслед за ним иваново-вознесенского отряда совпало с празднованием первой годовщины Красной Армии. Дмитрия Андреевича избрали в комиссию по организации лекций, бесед и торжественного заседания. Сам он выступил с докладом на общегородском митинге у братских могил погибших воинов, Николай Хлебников и Павел Шарапов проводили беседы в воинских частях, а Иван Андреев — среди населения города.

Приказом М. В. Фрунзе отряд, прибывший из Иваново-Вознесенска, реорганизовался в стрелковый полк. Фурманов через несколько дней после этого события направляется в Александров-Гай, где формировалась стрелковая дивизия под командованием Василия Ивановича Чапаева.

Имя Чапаева сразу взволновало и увлекло Дмитрия Андреевича. Об этом он впоследствии подробно рассказал на страницах своей бессмертной книги. А вот первая дневниковая запись о Чапаеве, сделанная 26 февраля: «Здесь по всему округу можно слышать про Чапаева и про его славный отряд. Его просто зовут Чапай. Это слово наводит ужас на белую

гвардию. Там, где слышит она о его приближении, подымается сумятица и паника... Казаки в ужасе разбегаются, ибо еще не было, кажется, ни одного случая, когда бы Чапай был побит. Личность совершенно легендарная. Действия Чапая отличаются крайней самостоятельностью... У него одна только стратегия — пламенный могучий удар... Крестьянское население отзывается о нем с благодарностью... Фрунзе хотел свидеться с ним в Самаре и привезти оттуда сюда... Через несколько дней Фрунзе должен воротиться. С ним, может быть, приедет и Чапай».

Каждый день приносил много новых впечатлений, неожиданных событий. Дмитрий Андреевич думал о том, как он встретится с Чапаевым, о чем станет с ним говорить на первых порах и как построит свои взаимоотношения с человеком, о котором народ сложил героические легенды.

---

## Вместе с Чапаевым

В последней декаде марта закончилось формирование 25-й стрелковой дивизии. По приказу М. В. Фрунзе командиром дивизии назначался Чапаев, а комиссаром — Фурманов.

Вскоре к Дмитрию Андреевичу приехала жена, Анна Никитична, и оба они не без тревоги раздумывали о том, как посмотрит на это Чапаев. Ничего предосудительного не было, конечно, в том, что комиссару приехала жена (таких случаев было не так уж мало), и все-таки они беспокоились. Чапаев — человек необыкновенный, как-то взглянется ему, что-то скажет он под неожиданным впечатлением первой встречи. Вот как эту встречу описывает сама Анна Никитична.

«После нашего приезда... дней через пять-шесть, на рассвете — стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, настежь открывается дверь и вваливается целая ватага крепких, рослых, краснощеких людей и среди них маленький человек. Вошел, сбросил бурку, остался во френче защитного цвета, в оленьих сапогах.

— Здравствуйте. Я — Чапаев...

Я осталась лежать в кровати, а Фурманов вскочил, кое-как натянул на себя одежду. Я же из-под одеяла наблюдала за Чапаевым. Быстрые движения, походка немного лисья, быстрый взгляд. Он подозрительно посмотрел на меня, словно взглядом говорил: «А это что за баба?»

— Жена? — спросил Чапаев.

— Да, — ответил Фурманов.

Я еще глубже юркнула под одеяло.

— Зачем?

— Она политпросветом будет заведовать.

— А, культуру, значит, садить будет...

На этом разговор окончился. Пока Чапаев отвернулся к столу, я успела натянуть платье. Рядом с Чапаевым я увидела маленького, юркого человечка, которому Чапаев сказал:

— Петька! Немедленно созови совещание командиров и комиссаров, я сейчас доклады принимать буду...

Кончилось совещание. Сейчас же Петька притащил чайник, уже тут он со мной стал разговаривать, и мы организовали чай. Чапаев все время на меня подозрительно смотрел, для него было дико, что приехал комиссар, да еще со своей «бабой», никак не мог понять, что, мол, она тут будет делать. Кончилось чаепитие... После чая Чапаев сказал:

— Подать лошадей. Я еду на позиции. Комиссар поедет?

— Да. Я поеду, — ответил Фурманов.

Тогда я обращаюсь к Фурманову и говорю:

— Я тоже поеду.

Чапаев вскинул на меня взгляд и говорит:

— У меня драндулетов нет.

— Мне нужна верховая лошадь...

Я вышла на крыльцо. Стоят несколько лошадей. Я, не спрашивая разрешения, вскакиваю на лошадь... Вся ватага наблюдала за мной и за Фурмановым».

Так состоялась первая встреча Дмитрия Андреевича и его жены с Чапаевым. Недоверие и холодность несколько не тревожили Фурманова. Он уже многое слышал о своеобразном характере Чапаева, и теперь перед ним стояла одна задача: «духовно полонить» его, каких бы усилий это ни стоило.

А усилия потребовались большие. Любой опрометчивый шаг мог принести непоправимую беду. В сознании комиссара сложился целый план, хорошо продуманный, изложенный им впоследствии в книге «Чапаев», где Дмитрий Андреевич выступает под именем Федора Клычкова. В отношениях с Чапаевым раскрывается высокая политическая зрелость Фурманова-большевика, умевшего быстро взвесить, оценить конкретную обстановку, проникнуть в самые тайны человеческого сердца и определить свое поведение.

«Федор порешил давно, до встречи с Чапаевым, установить с ним особую, осторожную, тонкую систему отношений: избегать в начале разговоров чисто военных, чтобы не показаться окончательным профаном; повести с ним политические беседы, где Федор будет бесспорно сильнее; вызвать его на откровенность, заставить высказаться по всем пунктам, включительно до интимных, личных особенностей и подробностей; больше говорить о науке, образовании, общем развитии,— и тут Чапаев будет больше слушать, чем говорить. Потом... зарекомендовать себя храбрым воином,— это уже непременно и как можно скорее, ибо без этого все в глазах Чапаева, да и всех, пожалуй, красноармейцев, прахом полетит, никакая тут политика, наука, личные качества не помогут...

Только потом, когда Чапаев будет «духовно полонен», когда он сам будет слушать Федора,— может быть, чему-нибудь у него учиться,— лишь тогда идти ему навстречу по всем статьям. Но гонору ни: простоту, сердечность и некоторую грубоватость отношений установить теперь же, чтобы и помыслов не было о Федоре как о белоручке, интеллигенте, к которым на фронте всегда относятся подозрительно и с нескрываемым пренебрежением».

Так политический комиссар, представитель партии, определил свой курс поведения с Чапаевым. И это помогло быстро завоевать любовь Василия Ивановича и чапаевцев.

Фурманов сразу распознал в Чапаеве недюжинного героя, народного полководца-самородка, готового драться за Советскую власть до последней капли крови, и в то же время он увидел в нем человека, ко-

тому необходимо помочь разобраться во многих острых и сложных вопросах борьбы. «Чапаев теперь, как орел с завязанными глазами, сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротимая воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит».

Дмитрий Андреевич разглядел в Чапаеве сильные и слабые стороны, веря, что все слабое быстро отлетит, если открыть ему глаза на широкие горизонты, на великое будущее Советского государства.

И Чапаев рос с удивительной силой. Он скоро понял, что комиссар — не менее храбрый воин и к тому же умница, хороший организатор, чуткий товарищ. Жадный до всего нового, любознательный и пытливый, Чапаев зачарованно слушает рассказы комиссара о вреде религии и даже мечтает заняться с ним алгеброй.

Фурманов, как умный политик и вместе с тем как психолог и педагог, искусно «подобрал ключи» к сердцу Чапаева, тактично охлаждая его замашки «крестьянской вольницы», вспыльчивость, ухарство и поддерживая в нем все, что служило интересам революции.

Дмитрий Андреевич обладал исключительной выдержкой в своих отношениях с командиром дивизии, зная, что чудачества Василия Ивановича, вроде его приказа выдать двум неграмотным крестьянам дипломы врачей, — дело временное.

Фурманов прибыл в чапаевскую дивизию, когда Восточный фронт становился главным: именно здесь решалась в то время судьба молодого Советского государства.

Царский адмирал Колчак, награбивший золота и поддерживаемый интервентами, в марте 1919 года предпринял наступление по всему фронту. Его войска захватили Урал, двинулись к Волге, и над Советской страной нависла смертельная опасность.

11 апреля Центральный Комитет партии одобрил «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта», написанные В. И. Лениным. Этот фронт объявлялся главным, решающим, и ленинский призыв «Все на Колчака!» означал мобилизацию всех сил трудового народа.

На командующего Южной группой войск Восточного фронта М. В. Фрунзе возлагались громадная ответственность и надежды, и эти надежды он оправдал. Наступление Колчака было остановлено, его отборные войска разбиты и выброшены из советских городов и сел. Ударной, сокрушительной силой в разгроме колчаковской армии явилась чапаевская дивизия, покрывшая себя неувядаемой славой.

Ядром чапаевской дивизии был 220-й Иваново-Вознесенский полк. Комиссар Фурманов, ивановские рабочие, коммунисты полков явились цементирующим началом дивизии. Их политический опыт и организованность передавались всем бойцам, воодушевляя на самоотверженные подвиги.

Дмитрий Андреевич не раз участвовал в боях. Он храбро сражался. Надо ли говорить, что после этого в глазах Чапаева авторитет его сразу вырос!

В это тяжелое время Фурманов думал не только о судьбе тех, кого доверила ему партия как политическому работнику на фронте. Он думал и об ивановских текстильщиках, оставшихся далеко, в глубоком тылу, о женщинах и детях, осиротевших кто на время, а кто навсегда. И вот в короткие передышки между боями и напряженной политработой он торопится записать свои впечатления о фронте. Одну за другой посылает он корреспонденции в ивановскую газету «Рабочий край», информируя жителей Красной губернии о геройских подвигах земляков, об их горячих встречах с населением освобожденных сел и городов и о многом другом.

Так, начиная с 5 апреля в «Рабочем крае» появляются первые письма за подписью Фурманова. Печатаются его яркие военные зарисовки: «Пилюгинский бой», «Уфимский бой», «Освобожденный Уральск» — и другие корреспонденции. Для ивановцев они были желанными весточками с фронта, а для самого Фурманова — первыми набросками, эскизами будущей книги «Чапаев».

В корреспонденции «Сознательные герои» он рассказывает о высоко осознанном долге перед Советской Родиной бойцов-коммунистов, верящих, что никакие козни врагов, никакие трудности не смогут подорвать завоевания революции. «Их героизм,— писал Фурманов,— вытекает с неизменностью из

глубокого убеждения в правоте своего дела. Они тверды и мужественны, пламенны и решительны, они стойки и боеспособны, ибо сознательно вступили в борьбу. Один такой сознательный боец дороже сотни, хотя и удалых, но бессознательных храбрецов».

Вся деятельность Фурманова как политического комиссара развивалась именно в этом направлении. Сотни летучих митингов, докладов, бесед, наставлений и просто обыденных разговоров били в одну цель: повысить боеспособность чапаевцев путем их идейного вооружения, сознательного отношения к патриотическому долгу.

По свидетельству друга и соратника Фурманова Николая Михайловича Хлебникова, командовавшего в дивизии артиллерией, «с первых же дней работы Фурманов начал создавать партийные организации и, опираясь на них, влиять на всю нашу боевую жизнь. В эти дни большинство из нас, по рекомендации Фурманова, вступило в партию большевиков. Фурманов быстро стал авторитетом не только в вопросах политработы, но и в военных вопросах, участвуя в непрерывных боях и сражаясь вместе с бойцами. Он не заискивал ни перед кем... Он не искал дешевого авторитета, а смело и решительно требовал выполнения приказов и распоряжений».

Дмитрий Андреевич быстро стал уважаемым человеком в дивизии, любимцем Чапаева и чапаевцев, о чем он с удовлетворением записал 19 апреля в дневник: «Как тень, я все время следую за Чапаевым. Все дела приходится решать сообща. Ни одного вопроса он без меня не обсуждает, во всем советуется, обо всем спрашивает... У нас установились самые лучшие, самые доверчивые отношения. Нам работать легко: его решительность, настойчивость и быстроту я дополняю осторожностью, спокойствием и способностью устанавливать контактные отношения. Часто сразу он подымается на дыбы, глаза заблестят, он готов сопротивляться, спорить, упорствовать. Но, неизменно натываясь на спокойствие, предусмотрительность и убедительность доводов, со всем соглашается и принимает все мои поправки и изменения». А вот дневниковая запись от 30 апреля: «Мы с Чапаевым сдружились, привыкли, прониклись взаимной симпатией. Мы неразлучны: дни и



ночи все вместе... Такой цельной и сильной природы я еще не встречал. Мы часто с ним предполагаем: что будет, как тяжело будет одному, когда другого убьют. И когда заговорим — обоим станет тяжело».

Стремительное наступление чапаевской дивизии не давало опомниться врагу. В конце апреля разгорелись кровопролитные бои на реках Боровка и Кинель за освобождение Пилюгина, 4 мая взят Бугуруслан, 13 мая занята Бугульма, 17 мая заняли Белебей, 30 мая чапаевцы отбили станцию Чишма. Колчаковцы крепко держались за Чишму не только потому, что она связывала Самаро-Златоустовскую и Волго-Бугульминскую железные дороги, но и потому, что эта станция была их последним военным укреплением на пути к Уфе.

Перед боем Чапаев и Фурманов собрали всех командиров и комиссаров частей, чтобы разъяснить нелегкую задачу. Первым выступил Чапаев. Резким, чуть надтреснутым голосом, в тоне приказа он говорил:

— Чишму надо взять! Никаких сомнений в бою! Кто растеряется, струсит — тому позор! Это запомните! Первый батальон 220-го полка придается бригаде Кутякова, которая пойдет на Чишму головной колонной. Кавалерии производить тщательную разведку, высылать глубокие дозоры для охраны правого фланга 1-го батальона, а также провести охват противника, ударить ему в тыл и прижать к реке Дёма. Ясно я говорю? — круто поставил вопрос Чапаев и, услышав многоголосый утвердительный ответ, добавил: — А теперь слово комиссару дивизии.

Фурманов говорил недолго. Он напомнил, как необходимо постоянно разъяснять политику партии, помогать населению устанавливать Советскую власть, чаще беседовать с красноармейцами о высоких целях предстоящих боев, регулярно подавать сводки в политотдел дивизии о политико-воспитательной работе среди бойцов.

В светлую майскую ночь двигались чапаевцы в боевых колоннах на Чишму. Много бойцов погибло в боях за взятие Чишмы, и среди них немало полегло ивановских текстильщиков.

Колчаковцы всюду укрепились, вели бешеный огонь из окопов, бесперывно шли в атаки и контратаки. Между тем чапаевские кавалеристы рубили врага с тыла, и противник дрогнул, стал беспорядочно отступать к Уфе. К исходу дня 30 мая Чишма была взята. Дивизия готовилась к походу на Уфу.

С первых дней пребывания на посту комиссара дивизии Фурманову пришлось много работать по укреплению кадров политработников. Многие политработники считали, что на войне, да еще в непрерывных наступательных боях, книгами да газетами заниматься некогда, что фронтовая обстановка не позволяет вести воспитательную работу среди красноармейцев.

В таких случаях Дмитрий Андреевич тактично беседовал с политработником, стараясь выяснить, способен он или нет выполнять возложенные на него обязанности, не заменить ли его другим товарищем.

— Как политическая-то работа? — спрашивал он одного из полковых комиссаров.

— Да что, — отвечал тот, — скажу вам откровенно: ничего не делаю, ей-богу, ничего. Ругайте не ругайте, а некогда. Что делать? Или вот за реку ехать, или программу учить? За реку нужней.

— Верно, — ответил Фурманов. — Да я не о том... Что обстановка нам диктует — кто скажет против того? Ну, а бывают же моменты, когда можно?

— Никогда, — отрубил тот уверенно, скручивая сигарку.

— Это вы уже слишком... — недоверчиво возразил Фурманов, — слишком... Моменты бывают — не правда, их только ловить надо уметь.

— Это иной вопрос...

— Да что иной... попробуйте... Трудно?

— Не только трудно — нельзя. Совсем нельзя. Мы, говорят, воевать пришли, а книжки читать потом будем... Когда войну кончим...

— Так вот тут-то ваша задача и начинается, — не дал ему договорить Фурманов. — Комиссар как раз должен убедить в другом: должен убедить, что без политики воевать нельзя... Что же за армия будет, коли не знает, куда и за что воевать идет? И время на это можно найти... Не верю, что нельзя... Попробуйте...

Много таких бесед провел Дмитрий Андреевич, многим подсказал доброе слово, научил вести политработу в самых, казалось бы, невозможных условиях. Дмитрий Андреевич знал, что никакие его личные качества не помогут в решении больших задач, если он не будет опираться на сознательных, энергичных людей, от комиссаров полков до политруков батальонов.

Фурманов доказывал партийным работникам, что политико-воспитательная работа не должна ограничиваться лишь докладами и митингами, что обычные, будничные, но целенаправленные беседы, повседневные разговоры с бойцами на привалах или в окопах приносят иногда в тысячу раз больше пользы, чем доклад или митинг.

Фурманов быстро увидел достоинства и недостатки чапаевцев, в большинстве своем вышедших из деревни. Они, как и Чапаев, были бесстрашными воинами, но им не хватало политической зрелости. Приходилось разъяснять им, что между коммунистами и большевиками нет никакой разницы, что гражданская война идет не ради личного клочка земли, а ради освобождения Родины.

А сколько было случаев недисциплинированности, вдруг начинавшейся беспыльной стрельбы из одного только желания пошуметь, пострелять! Сколько раз приходилось видеть хищения имущества граждан в освобожденных станицах! И все это нарушители порядка делали не по злему умыслу, а «так просто». Идет, бывало, кто-нибудь из таких нарушителей по освобожденной станице, а за пазухой у него что-то топорщится.

— Что несешь? — спрашивает Фурманов.

— Да вот, — растерянно оправдывается боец, вытаскивая из-за пазухи барахлишко, — вот смотрите: сущий пустяк.

— Зачем тебе?

— Да сам не знаю, выброшу по дороге — и баста.

— Нет, не выбросишь, — принимал строгий тон Фурманов. — Иди отдай хозяйке, да извинись, горе-голова! Разве ты за этим на фронт шел кровь проливать?

Боец совсем терялся и рад был вернуть обратно взятое барахло.

Дмитрий Андреевич, опираясь на политработников, повел постоянную борьбу с недисциплинированностью и вместе с Чапаевым строго наказывал тех, кто нарушал порядок в дивизии.

Все усилия комиссара и политработников были направлены на то, чтобы разъяснить бойцам их высокие обязанности. Надо было не только освободить города и станицы от вражеской нечисти, но и установить на местах Советскую власть настолько прочно, чтобы впредь никому не было охоты выступить против интересов революционного народа.

Политическая сознательность чапаевцев росла изо дня в день. Их всюду встречали как желанных друзей-освободителей, и каждая встреча превращалась во всенародный праздник.

Наступление Южной группы войск (куда входила и чапаевская дивизия), возглавляемое М. В. Фрунзе, оказалось столь продуманным и стремительным, что колчаковская армия не успевала опомниться и несла громадные потери. После блестяще завершенных Бугурусланской и Белебейской наступательных операций М. В. Фрунзе, вдохновленный и поддержанный В. И. Лениным, поставил перед войсками задачу немедленно, без передышки, освободить Уфу.

Давно ли, кажется, Колчак поклялся занять столицу Советской России и хвастливо приказал уже малевать на вагонах маршрут: «Уфа — Москва». А Михаил Васильевич Фрунзе дал клятву освободить Уфу. Впоследствии Фурманов писал: «Из двух клятв, что скрестились на уфимских холмах, сбылась одна: ворота к Сибири были распахнуты настежь».

В боях за Уфу приняли участие шесть дивизий, но первый удар должны были нанести чапаевцы. В те дни Дмитрий Андреевич и другие политработники без усталости разъясняли значение штурма колчаковской твердыни. Они не скрывали трудности предстоящих боев. Враг, имевший 40 тысяч штыков и сабель, 700 пулеметов и 140 орудий, к тому же сытый и хорошо обмундированный, отошел за реку Белую, минировал железнодорожный мост и прочно укрепился на высоком берегу, откуда тщательно просматривалось любое движение красных частей.

Среди чапаевских бойцов Фурманов с небывалым подъемом проводил митинги и беседы. Надо было еще и еще раз сказать им, что бой за Уфу потребует мобилизации всех сил, от воинской храбрости и сметливости до морально-политической выдержки. Бывший чапаевец, ныне Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, Александр Васильевич Беляков вспоминает об одном из многочисленных митингов, проведенных Фурмановым в канун штурма Уфы. «Вид у Дмитрия Андреевича,— пишет он,— совсем молодой, но речь зрелая, увесистая, доказательная, а главное — очень понятная...

— Хочу вам рассказать, товарищи, против кого и за что борется наш народ, кто наши враги перед фронтом...

Чем дальше, тем больше воодушевлялся и загорался Дмитрий Андреевич. Солдаты и командиры слушали комиссара затаив дыхание...

— Наш народ пробудился от векового сна, сверг угнетателей — царя, фабрикантов и помещиков. Мы боремся против тех, кто слепо или по убеждению идет за контрреволюцией, мы боремся за светлое будущее нашей Родины, за построение нового, свободного общества, за счастье наших детей».

7 июня М. В. Фрунзе прибыл в местечко Красный Яр, в 18 километрах от Уфы, и провел совещание с командирами и политработниками чапаевской дивизии. «Он,— много лет спустя писал Фурманов,— тщательно взвешивает каждую мелочь, высчитывает, сколько часов в короткой июньской ночи, когда упадет в вечернем сумраке и снова займется заря... Взвешено все, узнана каждая мелочь — как на ладони весь план, как на ладони наши силы...

— Ну, ребята: разговорам конец, час пришел решительному делу!»

Здесь, на совещании в Красном Яру, решено было, что первым переправится через реку Белую 220-й Иваново-Вознесенский полк и ударит в лоб войскам Колчака, что Чапаев остается на переправе руководить наступающими войсками, а Фурманов отправится к железнодорожному мосту, в другие части.

Бой за Уфу разгорался. В четырехчасовом бою иваново-вознесенцы расстреляли запас патронов.

Когда на иваново-вознесенских ткачей набросилось с остервенением несколько вражеских полков, ряды их дрогнули, но в это время появился любимый полководец Фрунзе и они услышали пламенные слова: «Ура, ура, товарищи, за мной! Вперед!» Бойцы кричали друг другу: «С нами Фрунзе!», «Фрунзе в цепи!» — и ринулись в бой с таким воодушевлением, с такой стремительностью и силой, что колчаковцы не выдержали и побежали в панике.

Между тем, на Уфу шло наступление и других дивизий. Бойцов потрясло известие о том, что Чапаев ранен в голову, что Фрунзе контужен осколком разорвавшейся бомбы. До вечера шел жаркий бой. Ночью был разбит лучший у врага каппелевский полк. Утром 9 июня вступали в освобожденную Уфу.

Много позже, после смерти Михаила Васильевича Фрунзе, вспоминая дорогого друга и учителя, Фурманов писал: «Много ли вас осталось, бойцы уфимских боев? Я знаю — в страшном тифу, на безводье, в кольце казацких войск — вы долго бились на Урале, ходили вы и на панскую шляхту. Не раз освежали заново ваши боевые ряды — сотни ткачей и пахарей полегли по степным просторам, полегли под губительным польским огнем.

Но те, что остались — над свежей могилой помните теперь прощальным словом своего боевого командира».

...Вскоре в дивизию пришло известие о том, что 220-й Иваново-Вознесенский полк награжден за участие в уфимской операции орденом Красного Знамени. Это была радость для всех чапаевцев.

3 июля в «Рабочем крае» уже появился очерк Дмитрия Фурманова под заглавием «Уфимский бой», в котором он рассказывал о блестящей операции по освобождению города.

В очерке описывались сложность и яркие подробности боя. Фурманов рассказывал, в каких трудных условиях чапаевцы форсировали реку Белую, о том, что Иваново-Вознесенский полк был главной ударной силой, как пришлось ему выдержать напор вражеских полков, как «сам командующий армией, тов. Фрунзе, с винтовкой в руках мчался в передней цепи и до невероятности, до энтузиазма поднял дух и без того закаленных бойцов».

Далее Фурманов сообщал о радости населения освобожденной Уфы: «Когда по городу стройными рядами проходил один из наших полков, шпалерами стоявшие граждане дрожали от восторга, бурно выражали свою радость, приветствовали нас самыми теплыми словами...

Стройно, гордо шли красные орлы, полные спокойствия и сознания силы... Город ожил».

Наконец, Дмитрий Андреевич, как политический комиссар, рассказывает о том, что его всегда особенно трогало: «На следующий же день была выпущена стенная газета, расклеены приказы и воззвания, с высоким подъемом прошли митинги, в гробовом молчании слушались лекции, с радостью шли на спектакли, концерты, где играли и участвовали красноармейцы».

А спектакли и концерты в чапаевской дивизии ставились нередко. Жена Фурманова, Анна Никитична, руководила в дивизии культпросветом. Она была энергична, инициативна и остроумна. Спектакли ставились под открытым небом, в сараях, иногда в непосредственной близости от фронта. В своих воспоминаниях Анна Никитична рассказывала, как однажды поставили они спектакль недалеко от окопов; чапаевцы поочередно по-пластунски приползали из окопов посмотреть хотя бы одну-две картины, а когда вдруг грянул бой, то и красноармейцы и артисты прямо в театральных костюмах ринулись бить белых.

Красноармейский театр, возглавляемый Анной Никитичной, отличался редкой оперативностью и пользовался исключительной любовью.

Вот как было в освобожденной Уфе. Умолкли последние выстрелы. Анна Никитична с друзьями начинают хлопотать о занятии летнего театра, а к вечеру в нем уже шел спектакль «Каторжник», о печальной судьбе русской женщины. В театре сидело немало только что раненных чапаевцев, и они, забывая боль, с неистовством аплодировали своим артистам. Тут же присутствовал раненный в голову и забинтованный Чапаев. Когда кончился спектакль, он вбежал на сцену, в восторге обнимая и целуя актеров.

После освобождения Уфы чапаевская дивизия получила короткий отдых. Затем опять начались жаркие бои.

11 июля чапаевцы овладели Уральском. И снова Дмитрий Андреевич в самой неприхотливой обстановке строчит в родную газету «Рабочий край» очередной очерк. 8 августа очерк о взятии Уральска появился в газете, и текстильщики читали его с восхищением, радуясь за судьбу своих посланцев-освободителей. Под маленьким, но выразительным очерком стояла подпись: «Военный комиссар 25-й дивизии Дм. Фурманов».

Дмитрий Фурманов прошел большой путь вместе с чапаевской дивизией, от первых схваток с врагами до решающих боев, когда хребет колчаковской армии был сломан и хваленый царский адмирал, на которого так надеялись интервенты, окопавшиеся на Севере Советской России, позорно бежал.

Но вот настало время, когда Дмитрию Андреевичу пришлось расстаться с Чапаевым. В конце июля Фурманова отозвали в распоряжение Южной группы войск Восточного фронта.

Прощание было тяжелым: Фурманов всегда отрывался с болью в сердце от полюбившихся ему людей, а с Чапаевым расставаться совсем не хотелось. Особенно его тронули слова Василия Ивановича, когда тот со слезами на глазах сказал:

— Прощай, Митяй! Во многих боях мы с тобой были, много горя вместе видели. Полюбил я тебя крепко, и жаль расставаться. Если бы не Фрунзе, скандалил бы я, а тебя не отпустил. Спасибо за все. Многому ты меня научил.

Это была лучшая награда комиссару!



## На туркестанскую целину...

5 августа Фурманов подписывает вместе с Чапаевым последний приказ о наступлении дивизии на Лбищенск-Сахарную, а через три дня покидает своих боевых друзей и едет в Самару.

В середине августа М. В. Фрунзе назначается командующим вновь образованного Туркестанского



фронта, которому были переданы войска Южной группы Восточного фронта и Туркестана. Мечта Фрунзе — открыть путь туркестанскому хлопку в промышленные районы России — становилась все более реальной.

Дмитрий Андреевич с присущим ему темпераментом взялся за политработу в штабе Туркестанского фронта. А мысли все еще были с Чапаевым. 3 сентября он пишет трогательное письмо Василию Ивановичу: «Здравствуй, дорогой Чапаев. Ты едва ли поверишь тому, как я скучаю по дивизии. Усадили меня помощником заведующего политодом Туркестанского фронта — ну сижу и работаю... Бывало — летаем с тобой по фронту как птицы; дух занимает, жить хочется, хочется думать живее, работать отчаянней, кипеть, кипеть и не умолкать».

Но не суждено было Чапаеву получить это горячее письмо бывшего комиссара. 5 сентября произошли страшные события в Лбищенске, где находился штаб 25-й дивизии. Фурманов узнал об этом через четыре дня. Вот что записал он в дневник:

«Мы сидели у Полярного<sup>1</sup> в кабинете...

— А вы слышали, — обратился ко мне Полярный, — в Двадцать пятой дивизии огромное несчастье: казаки вырубili весь штаб.

— Как вырубili, где?

— Ночью, наскочили на Лбищенск... Там же был и Чапаев, про него слышно тоже неладно...

Я был потрясен этим известием. Поднялся и побежал в Ревсовет... Я с лихорадочным напряжением жду все новых и новых известий: жив ли Чапай, где он?..

Думаю разом обо всем, за всех жутко и больно, всех жалко, но изо всех выступает одна фигура, самая дорогая, самая близкая — Чапаев».

Дмитрий Андреевич собирает сведения, где только удастся, разыскивает очевидцев, строит догадки и предположения. Он спешит написать новую корреспонденцию для «Рабочего края» и дает ей заглавие: «Как погибли тов. Чапаев и Батуринов». Рассказывая о последних минутах жизни Василия Ивановича, Фурманов писал: «Чапаев все еще крепится. Он в

<sup>1</sup> Л. Полярный — начальник политуправления Туркфронта. — *Ред.*

одной руке держит винтовку, в другой револьвер. Выхода совершенно никакого нет, но он все еще не сдается. Уже много трупов полегло вокруг него, много бойцов утонуло в холодных волнах, а Чапаев, словно привидение, все еще стоит на обрыве. Кто видел, — говорит, что это была замечательная, сильная, душу раздирающая картина. Он был уже ранен в руку и лицо. По щеке струилась кровь, он вытирал ее рукавом рубахи.

Потом видели, как он опустился на землю, может быть раненный еще раз. Снял сапоги и кинулся в волны. Больше его не видели. Раненный и обессиленный, он не мог переплыть широкий и беспокойный Урал».

В сознании Дмитрия Андреевича созрел план книги о Чапаеве. Пока же самое лучшее, на что он мог рассчитывать, — это вносить новые записи о Чапаеве в свой дневник или писать короткие газетные очерки.

Работа в Самаре, как обычно, увлекла Фурманова, и он отдавал ей целые дни, а иногда и бессонные ночи. В начале декабря он делегируется на VIII Всероссийскую конференцию РКП(б) и на VII Всероссийский съезд Советов. Там и тут он видит и слушает вождя партии и революции В. И. Ленина. Вернувшись в Самару, выступает в воинских частях, рассказывая о принятых решениях и прозорливых словах Ильича.

Во второй половине декабря Дмитрий Андреевич с женой едут в Иваново-Вознесенск. Здесь тоже не обошлось без выступлений, лекций и докладов. Ивановцы охотно шли слушать своего любимого оратора, а он им говорил о ленинских призывах, об участии 220-го Иваново-Вознесенского полка во взятии Уфы и о многом другом.

Наступил 1920 год. Штаб Туркестанского фронта готовился к отправке в Ташкент. Путь предстоял тяжелый: всюду свирепствовали голод, хозяйственная разруха, железные дороги работали с большими перебоями. Но никто не терял светлых надежд, никто не вешал голову, и лучше всего это настроение выразил опять же Фурманов в дневнике: «Мы едем в Туркестан. Новые мысли, новые чувства, новые перспективы... В трудной работе я найду новые радости, ибо

поле, где будем сражаться, — это поле широко, просторно, не возделано пахарем. Мы идем теперь пахать богатую, многообещающую ниву туркестанской целины».

Вместе с Фурмановым ехали в Ташкент его новые друзья, разные по возрасту и характерам. Среди них был юнец с румяными щеками и веселой улыбкой — Алеша Колосов, будущий советский писатель, один из талантливых очеркистов «Правды». На Алеше нескладно сидела вытертая долгополая шинель и где-то на затылке торчала помятая кепка. Весельчак и выдумщик, он в дороге предложил выпускать сатирическую стенгазету «Жучки на палочке». С Алешей никто не скучал, и кому в дороге становилось не по себе, тот шел поближе к Колосову, чтобы забыться или рассеяться.

Тут же ехал бывший шахтер Донбасса Иона Тимофеевич Никитченко, человек серьезный, сосредоточенный, все время думающий какую-то думу. В партию он вступил в 1916 году, познал большевистское подполье, бил белых на фронтах гражданской войны, в Самаре крепко подружился с Фурмановым и ни за что не хотел с ним расставаться.

Ехала в Ташкент и миловидная девушка, Лидочка Отмар-Штейн. Ее глаза, любознательные и пытливые, выдавали в ней человека, который не жалеет о прошлом уюте и с жадностью ищет пусть опасной, но настоящей работы.

Судьба Лидочки действительно была несколько необычной. Родилась и воспитывалась она в семье царского офицера, в полном довольстве и безмятежном покое. Но в Самарской гимназии она встретилась с людьми, научившими ее презирать богатых людей. Она твердо решила уйти к большевикам.

Много лет спустя в своих воспоминаниях Лидия Августовна Отмар-Штейн писала о тех далеких днях: «Я очень много читала книг революционных демократов Чернышевского, Герцена, Добролюбова и других. И я страстно мечтала помочь народу, служить народу... Своих родителей я не страшилась и решила жизнь свою устраивать сама. Судьбе было угодно, чтобы я попала к дорогому Фурманову, который и указал мне единственно правильную дорогу в жизни».

Путь от Самары до Ташкента длился настолько долго, что на современных поездах за это время можно было бы объехать всю страну. Все пассажиры теплушек, вплоть до Фрунзе и Фурманова, шли на станциях в порядке трудовой повинности отыскивать топливо для паровоза, чтобы сквозь заносы и метели двигаться дальше.

О превратностях пути Фрунзе телеграфировал В. И. Ленину следующее: «6 февраля прибыли в Актюбинск. Условия передвижения неописуемы. Поезд два раза терпел крушение. Дорога в ужасном состоянии. Начиная от Оренбурга, все буквально замерзает. На топливо разрушаются станционные постройки, вагоны и прочее. Бедствия усиливаются свирепствующими буранами и заносами. Кроме воинских частей, работать некому, а части раздеты и разуты».

Михаил Васильевич докладывал Ленину всю суровую, горькую правду, ни на одно мгновение при этом не теряя веры в то, что скоро все-таки, очень скоро пойдет эшелонами туркестанский хлопок в промышленные города центральной России и люди будут иметь одежду.

22 февраля штаб Туркестанского фронта прибыл в Ташкент, а через неделю Фурманова назначили начальником политуправления. 7 марта Реввоенсовет Туркестанского фронта, возглавляемый М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышевым, постановил направить Фурманова своим полномочным представителем в Семиречье, где предстояло выполнить исключительно трудную работу. 8 марта в Ташкенте состоялось совещание руководящих партийных работников Туркестанского фронта, на котором выступил М. В. Фрунзе. Говоря о личных качествах Дмитрия Андреевича и задачах, возложенных на него, он заявил:

— На товарища Фурманова возлагается большая ответственность: его посылают в Семиречье. Работа там важная, и справиться с ней могут только ответственные товарищи. Я хорошо знаю, что Фурманов — работник энергичный. Я знал его еще в Иванове и по его работе в 25-й дивизии, и мы полагали его использовать должным образом на ответственном посту в Семиречье. Там придется провести огромную партийную работу.

Фурманов с волнением слушал своего учителя и друга. Предстоящая поездка в Семиречье была едва ли не самой опасной из всего, что пришлось ему испытать. Но он проникся глубокой верой в благополучный исход событий.

Начались хлопотливые сборы, выбор надежных людей. Но, несмотря на занятость, Дмитрий Андреевич успел написать статью для «Рабочего края» под заголовком «В стране хлопка» и по-прежнему вел дневник. 20 марта он вместе с товарищами, среди которых были Алеша Колосов, Иона Тимофеевич Никитченко и Лидочка, выехал в город Верный (ныне Алма-Ата). И снова начались превратности пути, длившиеся почти 17 суток. Только 5 апреля группа Фурманова прибыла в Верный, расположилась в гостинице «Белоусовские номера», и с ходу началась кипучая работа в новых условиях.

Жизнь фронтовая, рискованная, каждый день чреватая опасностями, а учиться надо несмотря ни на что. И Алеша Колосов становится организатором партийной школы. У других товарищей дел тоже через край: мобилизация коммунистов в армию, посев яровых и охрана порядка в городе, помощь разоренным районам — да мало ли еще забот, не терпящих никакого отлагательства! Только к вечеру, после бесконечных забот, выбирался Фурманов с друзьями в горы подышать чистым воздухом, напиться прозрачной воды, налюбоваться величием горных вершин. Здесь, среди скал, зияющих обрывов и стремительных горных потоков, кажется, забывались все волнения.

А в городе было тревожно, опасно, главным образом тем, что кто-то где-то затаился, спрятался и ждет лишь сигнала, чтобы выскочить из потайных мест и нанести коварный удар ножом в спину Советской власти. В воинских частях окопались матерые кулацкие сынки, старые провокаторы и, что всего страшнее, предатели с партийным билетом. Окрестное кулачье, недобитые бандиты, городские обыватели усиленно подогревали мятежные настроения в частях, раздавая крупные взятки и бочки спирта. Фурманов и его боевые друзья чувствовали, что они попали на пороховой погреб, который вот-вот взорвется.

Взрыв произошел 12 июня, когда Фурманов объявил приказ о переброске воинских частей из Семиречья на Фергану. В городе вспыхнул мятеж. Начались погромы и бесчинства. Мятежники заняли ряд советских учреждений, городскую крепость. Мятеж грозил распространиться на все Семиречье.

Дмитрий Андреевич и его товарищи покинули гостиницу «Белоусовские номера». Каждый миг ожидался налет мятежников, и неизвестно, чем бы он мог закончиться. Фурманов не дрогнул и, как всегда в сложных случаях, напряженно осмысливал происходящее и вынашивал мудрый план ликвидации мятежа.

А как росли люди в этой накаленной до предела обстановке! Каждый из них был готов в любую минуту выполнять любое поручение. Перед самым мятежом Фурманов пригласил Никитченко и сказал:

— Мы хотим направить тебя на работу в военный трибунал.

— Но я ведь не имею юридического образования!

— Ты политработник, а это ко многому обязывает. К тому же ты прошел школу революции.

Фурманов, больше чем кто-либо, понимал, что без специального образования Ионе Тимофеевичу будет работать трудно. Но где взять специалиста? Все знали, что Никитченко мог толково вести дела в трибунале. И Дмитрий Андреевич не ошибся. Потом, много лет спустя, Иона Тимофеевич окончил заочный юридический факультет, стал генерал-майором юстиции.

Да что говорить о Никитченко, когда скромная машинистка политуправления Лидочка Отмар-Штейн должна была выполнять обязанности и агитатора, и воина, и отважной разведчицы, рисковавшей жизнью!

Рано утром, на второй день мятежа, когда головорезы захватили отдельных товарищей из группы Фурманова и в пьяном угаре глумились над ними в крепости, Дмитрий Андреевич пригласил машинистку и сказал ей:

— Лида, я даю тебе боевое поручение.

— Какое, Дмитрий Андреевич? Все, все я постараюсь выполнить.

— Ты не боишься, тебе не страшно?

— Нет, нет, я ничего не боюсь, как все наши товарищи.

— Пройди в Белоусовские номера, — сказал Фурманов, — посмотри и узнай, был ли налет-обыск. Посмотри, какая обстановка в городе.

— Хорошо, сейчас же иду!

— Иди!

— Дмитрий Андреевич, — задержалась Лидочка, — как мне поступить, если меня захватит патруль мятежников?

— Не растеряться! Ты ведь видишь, мы не пали духом. Поступай так, как велит долг коммуниста. Самое важное — не давай понять, что ты растерялась. Главное, глазом не моргнуть.

И машинистка становилась разведчицей, добывала нужные сведения. Потом Лидия Августовна находилась на других фронтах гражданской войны, была на ответственной партийной работе в Ашхабаде, а ныне она — персональный пенсионер.

Сам Фурманов во время мятежа пережил столько, сколько другому человеку не пришлось пережить за всю жизнь. И дело не в том, что в течение семи суток он находился под постоянной угрозой смерти. В Чапаевской дивизии перед лицом смерти ему приходилось бывать не раз, и он готов был отдать свое сердце за партию. Однако там другое дело: там на место погибшего встанут десятки и сотни других солдат революции, а здесь сложилась такая обстановка, что его гибель с горсткой боевых друзей принесла бы крупную удачу врагам и мятеж охватил бы все Семиречье. В те дни Фурманов, казалось, просто не думал о смерти, он думал о другом: как выиграть время, как обезглавить мятежников, с каким оружием защищаться и нападать.

О винтовках и пулеметах не могло быть и речи: что могут сделать 15—20 человек против пятидесятичной, вооруженной до зубов толпы? Оставалось одно оружие — ленинский компас, испытанный в суровых битвах пролетариата с врагами революции. Фурманов с самого начала катастрофы знал, что подавляющее большинство мятежников — это обманутые люди, что заклятые враги Советской власти воспользовались политической незрелостью этих людей, разжигают национальную рознь, спекулируют на

тяжелых продовольственных недостатках, сулят кулакам прежнее богатство, словом, используют все для того, чтобы расправиться с Советской властью.

В какой-то мере верненский мятеж напомнил Фурманову саботаж иваново-вознесенских почтовиков, вспыхнувший на второй день после Великого Октября. Там тоже были обманутые, спровоцированные люди. Однако там Советская власть установилась в городе прочной и незыблемой, и достаточно было поговорить по душам с саботажниками, изолировать двух-трех главарей-эсеров, как все стало на свои места.

Здесь же обстановка была гораздо сложнее. Насколько верно и удачно Фурманов ориентировался в событиях в дни своего пребывания в Семиречье, свидетельствует его статья «Мятеж в Верном 12—19 июня 1920 года», написанная по горячим следам и впервые опубликованная в журнале «Пролетарская революция» (№ 11 за 1923 год).

В этой статье он рассказал о том, как национальная вражда в Семиречье, поощряемая царским правительством, приводила к ужасным столкновениям вплоть до массовой резни. Естественно, что главари мятежа стремились использовать национальную и религиозную вражду, как одно из средств подстрекательства против Советской власти. Они рассчитывали на успех еще и потому, что в красноармейских частях оказалось немало кулачья, которое только и мечтало расправиться с Советской властью. Главари мятежников надеялись на поддержку хорошо вооруженных банд Анненкова, ставленника иностранных империалистов, чинившего разбой совсем близко и в любое время могущего прийти на помощь мятежникам.

Фурманов в упомянутой статье рассказал не только о причинах мятежа, но вместе с тем поведал читателям о той тактике, которую выбрала горстка коммунистов, противоборствуя мятежной толпе.

«Верненский мятеж, — писал он, — явление не случайное, он имел глубокие социально-экономические корни. Это было не просто волнение наподобие тех, что случались иногда в красноармейских частях на почве скверного питания... Это было движение зажиточных крестьянских слоев против основных



принципов Советской власти,— движение, к которому примешивались элементы сословной и национальной борьбы...

Понадобилось немало усилий со стороны Советской власти, чтобы устранить основные противоречия, породившие мятеж. Только гибкая и выдержанная политика советских органов, направленная к изживанию национальных антагонизмов, к пробуждению в мусульманской бедноте классового самосознания, покончила с тем положением, выходом из которого могли быть вспышки, подобные мятежу 1920 года».

Эта статья Фурманова легла впоследствии в основу его замечательной повести «Мятеж». В «Мятеже» он придал официальным документам такую одухотворенность, такую силу звучания, что вызвал восхищение читателей. А. Серафимович, познакомившись с повестью, писал, что ««Мятеж» — это кусок революционной борьбы, подлинный кусок, с мясом, с кровью. Рассказано просто, искренно, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно».

Группа коммунистов во главе с Фурмановым оказалась в необычных условиях. Командующий 3-й Туркестанской стрелковой дивизией Белов, областной военный комиссар Шегабутдинов, командир кавалерийского полка Масанчи были арестованы мятежниками в то время, когда они пытались урегулировать с ними отношения путем мирных переговоров. Ряды и без того маленькой группы людей таяли на глазах, и тревога нарастала с неимоверной силой.

Дорога была каждая минута, опасен каждый промах, и Фурманов пытливо перебирает в памяти все крупницы партийного опыта, чтобы нанести врагам меткий удар. В какой уже раз он приходит к твердому выводу: изолировать главарей мятежа, разъяснить спровоцированным людям правду, а как это сделать? Под рукой нет даже минимального количества агитаторов, разведчиков. И все-таки горит вера в силу большевистского слова, в силу ленинского разума, твердости негибаемого характера. Эта вера в большевистский разум не покидала его и в те часы, когда он сидел в крепости, захваченный мятежниками.

Вот как потом он передал это в своей повести «Мятеж»: «Сидим мы, вполголоса поговариваем. О чем тут говорить, в такие минуты? Положенье наше яснее ясного: в лапах у мятежников... И самое большое, что сможем сделать,— это умереть как следует, если уж к тому идет дело... Я придвинулся к окошку, снял сапоги, примостился и, по привычке, вытащил клочок бумаги, вкривь и вкось начал записывать свои мысли в столь необычном состоянии... Вдруг за дверью, в коридоре какая-то возня. Слышно, как быстро подошли к нашей каморке несколько человек и о чем-то заговорили со стражей... Чужой голос зычно рявкнул во тьму каморки:

— Здесь Фурманов?

Мы замерли. Насторожили уши. Сразу у меня словно оторвалось сердце и упало. Во рту будто полили холодными, мятными каплями... Мы промолчали. А зычный голос снова:

— Фурманов здесь?

— Здесь,— отвечаю ему из темного угла и голосу стараюсь придать здоровую, крепкую бодрость.

— Выходи...

— Куда?

— Выходи.

— Я босой...

— Все равно— выходи босой...

И вдруг нам все стало ясно: «Уводят расстреливать!..» А в голове молнией мысль: «Умереть надо хорошо...»

Дмитрий Андреевич совсем не хотел легко расставаться с жизнью. И если уж смерть неизбежна, то он хотел принять ее как подобает человеку, на стороне которого сила правды и уверенность в счастливое будущее народа.

Фурманов крепко пожал руки товарищам. Но в эту минуту произошло что-то странное. Пришедшие за ним столпились у двери, занервничали, заторопились и вдруг опрометью кинулись из каземата. А к двери уже торопились красноармейцы.

— Товарищ Фурманов, быстрее, быстрее, выходите все. Главари перепились, и мы беспрепятственно проникли в крепость.

В ходе мятежа Фурманов четко обдумал свое поведение, он даже разработал план выступления

перед мятежной толпой, о чем впоследствии поведал в повести.

«Как ее взять в руки, мятежную толпу?..

Прежде всего — перед лицом мятежного собрания надо выйти как сильному: и думать, мол, не думайте, что к вам сюда пришли несчастные и одинокие...

А второе — не выпускать ни на одно мгновение из-под пытливого взора всю толпу, разом ее наблюдая со всех сторон...

В-третьих, вот что: знай, чем живет толпа, самые насущные знай у ней интересы.

Потом, в-четвертых. Глянь на лица, всем в глаза, улови нужные слова, учуй по движениям, пойми непременно и то, как передать, как сказать этой толпе слова свои и мысли — так сказать, чтобы дошли они к ней, проникли в сердцевину, как в мозг кинжал...

Вот тебе все советы. В последних, так сказать, на разлуку только два слова: когда не помогают никакие меры и средства, все испытано, все отведено и все — безуспешно, — сойди с трибуны... сойди так же смело, как вошел сюда. Если быть концу — значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза... Умирай хорошо. Наберись сил, все выверни из нутра своего, все мобилизуй у себя — и в мозгах и в сердце, не жалей, что много растратишь энергии, — это ведь твоя последняя мобилизация! Умри хорошо».

Фурманов верил, что мятежную толпу можно обуздать изнутри. Вместе с немногочисленными друзьями, рискуя жизнью, он шел в воинские части, чтобы словами большевистской правды отколоть основную массу спровоцированных людей от взбесившихся врагов Советской власти.

Через семь дней, грозных и напряженных, мятеж был ликвидирован. Все произошло без вооруженных столкновений, бескровно. Главари мятежа предстали перед революционным трибуналом, а воинские части в полном боевом порядке и с сознанием высокого долга перед Родиной были переброшены, согласно приказу, на Фергану.

В решающие дни подавления мятежа большую роль сыграл 4-й кавалерийский полк, комиссаром

которого был слесарь железнодорожных мастерских Иван Долженков. По заданию Фурманова и Белова он провел в полку серьезную разъяснительную работу, умело задержал некоторые воинские части, спешившие на соединение с мятежниками.

19 июня ночью полк форсированным маршем двигался к Верному. В два часа ночи Фурманов, Белов и Шегабутдинов встретились с полком на пути к городу, провели митинг и затем, войдя в город внезапно, сняли посты мятежников.

Вспоминая то время, Иван Долженков писал: «В честь подавления мятежа в гарнизоне был устроен парад войск. Трудящиеся города устроили нам торжественные проводы. Д. А. Фурманов в своей речи заявил: «Четвертый кавполк был надежной опорой командования. Честь ему и хвала за спасение Семиречья»».

20 июня Фурманов докладывал по телефону в Реввоенсовет Туркестанского фронта о ликвидации мятежа. В Ташкенте к прямому проводу подошел Валериан Владимирович Куйбышев. Выслушав Дмитрия Андреевича, он сказал:

— Пользуюсь случаем заявить, что ваша и Белова работа встречена Реввоенсоветом одобрением, и за все время событий мы с удовольствием наблюдали вашу энергию и такт.

А 3 августа на заседании большевистской фракции пленума ТуркЦИКа В. В. Куйбышев вновь дал положительную оценку деятельности Дмитрия Андреевича в дни мятежа, заявив при этом, что «Фурманов был все время... в раскаленной атмосфере. Он смело входил в толпу разъяренного казачества... был атакован кулацкой толпой и... случайно спасен».

Так в военную биографию Дмитрия Фурманова легла еще одна яркая страница.

Находясь в Верном, Дмитрий Андреевич пережил большое личное горе: в августе пришло печальное известие о смерти матери, которая находилась в то время в Крыму.

Фурманов нежно любил мать. Евдокия Васильевна была неутомимой труженицей, никогда не знавшей ни покоя, ни отдыха. Вся ее жизнь прошла в хлопотах о детях, а их было семеро. Еще в конце 1918 года тяжело заболевшая мать выехала из Иваново-Возне-

сенска в Бахчисарай, где за ней ухаживали две дочери, Настя и Лиза.

Каждый раз Дмитрий Андреевич получал от них известия все более безнадежные. 5 марта 1920 года он записал в дневник следующие строчки: «Глубокой, нежной скорбью полны мои воспоминания о тебе. Матушка, мама... Я тебя представляю только полную нежных забот, хлопотливую, тихую, кроткую... Много горя вынесла ты за полувековую жизнь... Пришли революционные дни. Ты с нами переносила все невзгоды, весь ужас голодных дней, всю тяжесть мучительной и лихорадочной работы».

И вот пришло время — матери не стало. Она умерла вдали от сыновей Дмитрия, Аркадия, Сергея и дочери Софьи, которые сражались на фронтах гражданской войны или находились далеко в тылу.

Вскоре Фурманов получил назначение в политотдел 9-й армии Кавказского фронта и сразу оказался в центре новых событий, напряженных и опасных. Возглавляя вместе с Е. И. Ковтюхом экспедиционный отряд в тыл белогвардейских войск генерала Улагая, он проявил храбрость и опытность политического комиссара, за что был награжден орденом Красного Знамени.

Затем Дмитрий Андреевич длительное время находится в Екатеринодаре (ныне Краснодар), работая начальником политотдела 9-й армии. И снова уже знакомая, но всегда новая и напряженная работа: каждый день выступления в воинских частях, организация армейских конференций или совещаний, печатных или живых газет, а главное, постоянное общение с командирами, полковыми или батальонными комиссарами и политработниками, повседневные беседы с рядовыми бойцами.

Фурманов встретил в Екатеринодаре немало земляков, смелых воинов и бывалых агитаторов. Здесь оказался Александр Федоров, бывший работник Иваново-Вознесенского ревкома, Лариса Самарина, бывший секретарь горсовета, ткачи из Шуи, Вичуги, Кинешмы и других городов родного фабричного края.

Лариса Самарина была одной из тех ивановских девушек, которые ни за что не хотели оставаться в тылу и стремились на фронт. В 1918 году ее командировали из Иваново-Вознесенска учиться в Москву

на партийные курсы. Но когда она узнала, что в родном городе собирается отряд текстильщиков-коммунистов, ее уже никакими силами нельзя было удержать в тылу. Она одна из первых заявила о своем добровольном вступлении в ряды Красной Армии.

Теперь Лариса Самарина работала секретарем политотдела 9-й армии. Встретившись с Фурмановым, она поинтересовалась судьбой своих земляков, сражавшихся на Восточном фронте.

— А где-то теперь Маруся Рябинина? — спросила она Дмитрия Андреевича.

Фурманову не хотелось огорчать Ларису одним коротеньким словом: «погибла». Он знал, что для Самариной, так же как и для него лично, Маруся была слишком близким человеком. Прежде чем ответить на вопрос, он, склонив голову, задумался, и Самарина поняла, что Маруси уже нет на свете. Фурманов сказал:

— Хоронили Марусю чапаевцы со всеми воинскими почестями. Сам Чапаев присутствовал на похоронах. Фрунзе отдал приказ о том, чтобы навечно оставить ее имя в списке личного состава 25-й дивизии.

Впоследствии Дмитрий Андреевич рассказал о Марусе Рябининой в «Чапаеве» и написал о ней очерк, публиковавшийся в «Правде».

Где бы ни был Дмитрий Фурманов, что бы он ни делал, какие бы новые заботы и встречи с людьми его ни волновали, он всюду выступал боевым газетчиком, страстным публицистом, вдохновенным литератором.

В Екатеринодаре в минуты, свободные от прямых обязанностей, он пишет статьи, очерки и первые свои брошюры. Здесь он создал один из лучших очерков «На Черном Ереке». В екатеринодарской газете «Красное знамя» он опубликовал статьи «Кубанская и семиреченская контрреволюция», «Беспартийные коммунисты». В начале марта выходит первая брошюра Фурманова — «Красная Армия и трудовой фронт» и сборник под его редакцией «О новых формах агитации и пропаганды». Дмитрий Андреевич пробует свои силы в драматургии, написав пьесу «Коммунисты». Рукопись пьесы, к сожалению, пропала.

Когда гражданская война была уже на исходе, Иваново-Вознесенский губком партии возбуждает ходатайство перед политическим управлением Красной Армии о демобилизации ряда товарищей, в том числе и Фурманова, с фронта: в тылу ощущалась острая нужда в партийных работниках. Но пока шли хлопоты, Дмитрий Андреевич получил назначение в редакционный отдел 11-й армии. Здесь он работал заместителем, потом начальником этого отдела, редактировал армейскую газету «Красный воин». В газете были опубликованы статьи Фурманова «В чем наша сила», «Борцы и мстители» и другие.

Штаб и политотдел 11-й армии находились в Тбилиси. Здесь Дмитрий Андреевич не раз выступал организатором совещаний военных корреспондентов. Он стремился установить прочные связи с красноармейской массой.

Весной 1921 года приходит приказ о демобилизации Фурманова из рядов Красной Армии. В начале мая он покидает Тбилиси, выезжает в Ростов-на-Дону для оформления документов.

Впереди его ждала Москва, литературное поприще, и дух захватывало от ощутимой близости такого счастья.



## **В Москву!**

«... Так куда же, куда я хочу?

Как куда: в Москву! В нее, красную столицу, в нее белокаменную и алую, гордую и благородную, великую страдальицу и героиню, голодную, измученную, но героическую и вечно бьющую ключами жизни — Москву!

Я хочу туда, откуда мчатся по миру самые глубокие и верные мысли, откуда разносятся по миру зовущие лозунги, где гудит набат и гулом своим будит весь пролетарский мир...

Я хочу уйти, совсем уйти от административной работы и заняться исключительно своим любимым литературным делом».

Эти трепетные строки Фурманов занес в дневник 20 мая 1921 года по пути из Ростова-на-Дону в Москву.

Теперь он ехал в столицу не как прежде, когда незрелым юношей поступал учиться в университет. Тогда он совсем не имел понятия о том, как его встретит Москва. Кто откроет перед ним перспективы на будущее и скажет уверенное, воодушевляющее слово: «Вперед!» Он ехал в столицу и сознавал свое завоеванное кровью право явиться туда одним из хозяев, перед которыми открываются громадное поле деятельности и широкие горизонты.

Дмитрий Андреевич был уверен, что его давняя мечта стать писателем совсем близка к воплощению, ибо она выстрадана и завоевана в боях за светлое будущее Родины.

Когда-то ему казалось, что он обязательно станет поэтом. Однако теперь он понимал, что поэзия не его удел, и в воображении уже рисовались планы очерков, рассказов и повестей, в которых он непременно должен сказать новое слово.

Фурманов ехал в Москву в майские дни, когда всюду оживала природа. И хотя за окнами вагона мелькали печальные развалины заводов и фабрик, сожженные села, где так недавно огненным вихрем пронеслась гражданская война, на душе было отменно и даже празднично: жизнь восторжествует!

Нет, не зря погибали такие герои, как Чапаев, как иваново-вознесенские ткачи, как тысячи других защитников молодой советской земли. Жизнь восторжествует! Народ сделает свою страну самой могучей и красивой на всей планете!

Думая о будущем, он в то же время жил только что минувшими событиями, полными героических деяний. И если уж писать книги, то надо непременно запечатлеть на их страницах тех, кто отстоял великие завоевания Октября. А как все это запечатлеть? Не дать ли защитников Родины без литературных выдумок, с их подлинными именами и фамилиями? Ведь в них столько героического, что любой из них — это уже яркий образ, достойный подражания! Эта мысль все больше волновала Фурманова и явилась опорой его новаторства в литературе.



Чем ближе он подъезжал к Москве, тем сильнее его обуревало желание поведать людям о Чапаеве, о драматических событиях верненского мятежа. А чем не герой Епифан Ковтюх? Ковтюх — вот вам и целая повесть! И в сознании вновь всплывали немеркнувшие картины совсем недавно пережитого боя.

...Это было в августе 1920 года. В то время Фурманов прибыл уже из Ташкента в Екатеринодар, в политуправление 9-й армии Кавказского фронта, и получил приказ отправиться комиссаром отряда в глубокий тыл врага.

Врангель, укрепившись на юге, высадил на Кубани крупный десант под командованием генерала Улагая в расчете нанести удар по Екатеринодару. Вражеские войска находились уже в 40 километрах от города. Ночью по рекам Кубани и Протоке двинулся в тыл к белым отряд, возглавляемый Епифаном Ковтюхом и комиссаром Фурмановым. В боевую задачу отряда входило прорваться к станции Гривенской, захватить штаб генерала Улагая и отрезать врагу обратный путь к морю. Задача была выполнена блестяще, несмотря на исключительные трудности операции. Враг, узнав о захвате в плен всего штаба генерала Улагая, ринулся к морю. Отряду Епифана Ковтюха пришлось сражаться с превосходящими силами противника.

Впоследствии Е. Ковтюх написал об этом походе свои воспоминания, и вот какими словами характеризовал он комиссара отряда:

«Д. А. Фурманов на моторке объезжал десант и проводил беседы. Некоторые из бойцов задавали вопросы, выражающие сомнения.

— Сумеем ли мы, товарищ комиссар, выполнить задачу? Ведь нас немного.

А некоторые, впадая в панику, заявляли:

— Ничего не выйдет, нас разобьют.

Фурманов блестяще владел мастерством большевистской агитации, убеждал тех, кто не верил. Он приводил различные примеры, которыми доказывал, что, если войска немного, но оно знает, за что дерется, воодушевлено и вооружено, оно победит. Речи Фурманова никогда не оставляли красноармейцев равнодушными. Говоря горячо и вместе с тем изумительно логично, он заставлял соглашаться с собой».

Этот рейд в глубокий тыл белых вошел еще одной славной страницей в военную биографию Фурманова.

Дмитрий Андреевич недолго пробыл на Кубани. Но разве можно забыть, как вместе с Ковтюхом провели боевой рейд в тыл врага, как вскоре после этого он был начальником политотдела 9-й армии! И сколько светлых воспоминаний осталось о людях, с которыми пройдены тревожные дороги войны!

Работая начальником политотдела 9-й армии, Фурманов по-прежнему улучал время для литературных занятий. Он уже тогда задумал написать повесть о Епифане Ковтюхе, о бесстрашных красноармейцах, не дрогнувших под ударом превосходящих сил противника. Дмитрий Андреевич много пишет во фронтовые газеты. Да и как не выступать в печати ему, Фурманову, владевшему острым, выразительным пером! Его избирают делегатом на VIII съезд Советов, он слушает Ленина о великом плане электрификации России.

Один из ближайших соратников Фурманова по 9-й армии, Анна Самойловна Щуцкевер, сообщает в своих воспоминаниях следующий интересный факт: «Ленинский план электрификации нашей разоренной Советской России вдохновил и захватил Дмитрия Андреевича. По возвращении в Краснодар он старался в своих выступлениях и особенно в многочисленных статьях отразить все величие грандиозного ленинского плана построения социализма. Помнится, что однажды он в один день с утра написал шестнадцать статей, главным образом для красноармейских газет и журналов».

Все, кто знал Фурманова по 9-й армии, говорят о нем как о человеке кипучей энергии, страстном пропагандисте.

...Дмитрий Андреевич ехал в Москву возмужалым, опытным бойцом, в руках которого одинаково грозными были перо и винтовка. Он ощущал в себе силы публициста.

22 мая Фурманов приехал в Москву. Он понял, что посвятить себя исключительно писательскому труду нельзя. Вставал вопрос о завершении образования.

---

## Нащекинский, 14

Дмитрий Андреевич с женой поселились в Нашекинском переулке, в доме № 14. Отсюда через Староконюшенный переулок можно было сразу выйти на Арбат, а с другой стороны — на Пречистенский бульвар, где любил Фурманов посидеть на скамейке и вдоволь понаблюдать за прохожими.

На бульваре можно было увидеть самых разных людей. Здесь с волчьей оглядкой и злыми глазами шли чопорные барыни, бывшие законодательницы модных салонов; тут же спешили с работы изможденные рабочие; у железной изгороди, вдоль кустарников, рылись в земле беспризорные ребятишки в лохмотьях; шныряли какие-то подозрительные хлюсты, похожие на аферистов, или бравой походкой шел демобилизованный красноармеец с пунцовой звездой на буденовке. Такой пестроты в лицах и костюмах Москва еще не знала.

Но казалось, еще более пестрый мир увидел Фурманов среди московских литераторов. Тут были и литературные снобы, которые никогда ничем не прославились, и бесшабашные кутилы, и наркоманы, и крикуны, и позыры, с апломбом выдвигающие свои декларации, от которых так и несло плесенью.

Фурманов приглядывался ко всему. Надо было распознавать врагов и на литературном фронте, разоблачать их и строить новую культуру.

Дмитрий Андреевич устроился на работу в издательский отдел Реввоенсовета республики. Его назначили «начальником части военной периодической литературы». Казалось, при такой нагрузке мало времени для творчества. Ну, нет! Фурманов успевает много писать, еще больше — читать.

Его имя под публицистическими статьями и очерками появляется на страницах журналов «Печать и революция», «Военная наука и революция», «Красноармеец», в газетах «Известия», «Агит — Роста» и конечно же в родной ивановской газете «Рабочий край».

На квартире у Дмитрия Андреевича, в Нашекинском переулке, используется разумно, расчетливо

каждый час свободного времени. Фурманов где-то достает толстые бухгалтерские книги с золотыми буквами на переплете и заносит туда свои впечатления о прочитанном. Фронтовые записки и дневники он тщательно разобрал, и те, что нужны срочно, оставил под рукой, а другие бережно завернул в бумагу, положив их на полки вместе с книгами.

Квартира, состоявшая из двух комнат, всегда содержалась в чистоте и опрятности: Анна Никитична ревностно заботилась об условиях для творческой работы мужа, зная, как он ценил аккуратность и чистоту во всем.

День ото дня у Фурманова появлялись все новые знакомства: литературные критики и публицисты Вячеслав Полонский и Машбиц-Веров, один из старейших пролетарских писателей Серафимович, Маяковский и Есенин, Леонов и Бабель, три поэта-Александра — Безыменский, Жаров и Исбах. Набивались к нему «в друзья» и литературные позеры. Но Дмитрий Андреевич умел быстро распознавать друзей и недругов.

По воспоминаниям Юрия Либединского, одного из близких его соратников на творческом пути, «в Фурманове было воплощено то самое лучшее, что в складывающуюся советскую литературу принесли писатели, пришедшие по окончании гражданской войны с различных участков политической работы...

Придя в новую для него и достаточно сложную литературную среду того времени, Дмитрий Андреевич Фурманов сумел изучить ее, по-большевистски разобраться в ней... Он первый начал борьбу против некоторых крикливых политиканов, которые порою пытались выдать себя за правоверных носителей партийных взглядов в литературе».

Такому человеку, каким был Фурманов, не стоило большого труда разобраться в классовой подоплеке всевозможных эгофутуристов, имажинистов, завсегдаев пьяных вечеринок и авторов произведений вроде «Заговора дураков», которым тщился прославиться Мариенгоф.

Однажды он посетил литературное кафе имажинистов, называвшееся «Стойло Пегаса». Впечатление осталось самое скверное. Дмитрий Андреевич записал в дневник: «Сегодня Мариенгоф в «Стойле

Пегаса» читал «Заговор дураков». Он эту вещь назвал, кажется, трагедией, а по-моему, имя ей — чушь... Он ломался, кривлялся, строил мину, претендовавшую одновременно и на глубину и на презрительность ко всему существу. «Стойло Пегаса» является, в сущности, стойлом буржуазных сынков — и не больше. Сюда стекаются люди, совершенно не принимающие никакого участия в общественном движении... Здесь вы увидите лощеных буржуазных деток — отлично одетых, гладко выбритых, прилизанных, модных, пшютоватых, — словом все та же сволочь, которая прежде упивалась салонными, похабными анекдотами и песенками, да и теперь, впрочем, упивается ими же. В «Стойле Пегаса» — сброд и бездарности, старающиеся перекричать всех и с помощью нахальства дать знать о себе возможно широко и далеко».

Фурманов глубоко сожалел, что среди посетителей «Стойла Пегаса» он видел по-настоящему талантливого, большого поэта Сергея Есенина, который сам все более понимал свое чужеродное положение у имажинистов и впоследствии порвал с ними.

Квартира Дмитрия Андреевича в Нацкинском переулке становилась местом, где собирались здоровые, свежие творческие силы. Сюда начинающие авторы приносили свои первые пробы пера, здесь разгорались жаркие споры о литературном будущем страны, здесь читали свои произведения поэты, прозаики, чьи имена ныне заняли достойное место на страницах истории советской литературы.

А когда все-таки писать самому Дмитрию Андреевичу? Работа редактора, всегдашние посетители дома — все это было нужно, важно, увлекательно, однако страшно отвлекало от непосредственного творчества. Фурманов решил строго придерживаться времени литературных занятий. Он взял за правило писать рано утром, а в вечерние часы, когда входил в творческий раж и, случалось, появлялись друзья, он говорил жене:

— Ная, займи друзей, а меня пока не трогайте.

И Анна Никитична часами занимала товарищей, угощая их и беседуя с ними о новых книгах, театральных представлениях и многом другом. Нередко

бывало и так, что Дмитрий Андреевич, увлеченный работой, не выходил из кабинета. Товарищи не обижались: дело понятное, творческое, возможно, кое-кому и хотелось поговорить лишний час, но всему есть мера.

Однажды Дмитрий Андреевич повесил на своей двери предупреждающее объявление:

I. По воскресеньям ко мне прошу не ходить — я очень занят, не мешайте работать.

II. Приходите не чаще 2 раза в месяц:

1) Между 1 и 5 числом.

2) Между 15 и 20.

III. Только от 5 до 7.

Примечание: в экстренных случаях особая статья: тут можно в любой час».

Это объявление носило, конечно, шуточный характер, все смеялись, но кое-кому из невоздержанных собеседников, не знающих цену времени, давался умный намек.

В Нащекинский переулок шли не только писатели-москвичи, сюда стремились и те, кто воевал с Фурмановым на фронтах, и те, кто знал его по Иваново-Вознесенску.

Однажды по приглашению Дмитрия Андреевича к нему приехала семья Чапаева. Дочь Чапаева, Клавдия Васильевна, которая была в то время совсем девочкой, воспитанницей самарского детдома, потом писала об этой встрече: «Дверь открылась, и к нам на площадку стремительно вышел с сияющими глазами, с протянутыми для объятий руками Дмитрий Андреевич.

Меня поразило его лицо, сияющее радостью. Он всех нас по очереди крепко обнял, расцеловал, затем попросил проходить, а сам стал вносить наши вещи к себе в комнату... Дмитрий Андреевич говорил, что не может и не хочет смириться с мыслью о том, что отец погиб... Незадолго до нашего отъезда Дмитрий Андреевич сообщил нам, что Михаил Васильевич Фрунзе выхлопотал всей нашей семье пенсию».

Несколько дней гостила семья Чапаева у Фурманова, и он вместе с женой радовался дорогим гостям, играл и пел с маленькими девочками запевки про царя Николашку и буржуев, водил девочек по Москве, рассказывал им много занимательного.

Бывали у Дмитрия Андреевича дома и Алеша Колосов, и Иона Тимофеевич Никитченко, которые делили с ним тревогу в дни верненского мятежа. Все они теперь, зрелые, опытные коммунисты, занимались каждый своим делом, но не теряли дружбу, скрепленную боевыми походами.

Иных друзей Фурманов разыскивал сам, наводил о них справки и переживал минуты радости, когда удавалось получить обнадеживающие сведения или случайно встретиться с ними. Однажды он узнал, что в Москве появилась Лидия Августовна Отмар-Штейн, та самая Лидочка, которая смело вырвалась из родительского дома навстречу опасной, но настоящей жизни.

Фурманову не терпелось узнать, что же стало теперь с Лидочкой. Надо ее непременно разыскать, и в дневнике появляются следующие строки под заголовком «Лидочка». «...Так близко когда-то жили, вместе, в работе, так любили мы ее, да и она нас... И вот с Наей поехали... Застали дома. Она была неподдельно рада, кинулась Нае на шею, целовала ее. Я смотрел в полное, белое лицо Лидочки и видел, что осталось оно почти то же, что было 5 лет назад, только в глазах — женщина, самостоятельная, созревшая работница, как шагнула далеко вперед наша «дочка»... Да, она как дочка — даже так и звали».

На следующий день Лидия Августовна приехала в Нащекинский переулок к своим старшим друзьям и заночевала: разговоров и воспоминаний хватило до полуночи.

Дмитрий Андреевич с женой сами умели увлекательно обо всем рассказывать, но умели и слушать друзей, а тут явился человек, которого можно было слушать часами. Лидия Августовна рассказывала все с такой задушевностью и откровением, словно к Фурмановым действительно приехала дочка, когда-то расставшаяся с родителями, будучи совсем юной, а теперь заметно выросла и поражала самостоятельностью суждений и выводов.

Лидия Августовна поведала, как после ликвидации верненского мятежа попала «из огня да в полымя». Она находилась в рядах бесстрашных большевиков, возглавивших народное восстание против Бухарского эмирата, этого оплота контрреволюции в

Средней Азии. Затем Лидия Августовна рассказала, как была на партийной работе в Туркестане, заведовала женотделом.

Фурманов был счастлив, что Лидочка стала твердым коммунистом. Ведь это он в дни верненского мятежа рекомендовал ее в партию! Прощаясь, она сказала:

— Митяй, я не умею и не хочу говорить комплиментов, но ты был первый, кто открыл мне путь в настоящую жизнь.

Так в Нащекинском переулке нередко проходили теплые встречи с теми, кто в меньшей или большей степени представлялся Фурманову будущими героями его произведений.

Здесь, в Нащекинском переулке, родились блестящие книги «Чапаев» и «Мятеж», которые стали жемчужинами в творчестве писателя и принесли ему известность. Только во имя этих двух книг стоило так страстно мечтать о литературном поприще.



## В родных краях

Бесконечные диспуты о литературе, встречи с писателями и друзьями фронтовых дней, полуночные творческие занятия дома никак не могли заслонить желания побывать в родных краях. В течение лета и осени 1921 года Фурманов несколько раз посещал Иваново-Вознесенск.

В июле Дмитрий Андреевич едет туда в связи с подготовкой съезда работников красноармейской печати, встречается с людьми, побывавшими чуть ли не на всех фронтах. Недаром в свой замечательный роман «Чапаев» Фурманов вписал незабываемые строчки, звучащие как гимн в честь воинов родного города: «И где их, бывало, где ни встретишь: у китайской ли грани, в сибирской тайге, по степям оренбургским, на польских рубежах, на Сиваше у Перекопа, где они не были, красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и так ненави-



дела: оттого им и память — как песня сложена по бескрайним равнинам советской земли».

Многих недосчитались ивановцы, когда вернулись домой, а те, кто вернулись, стали засучив рукава восстанавливать замороженные фабрики, добывать счастье своим неустанным трудом.

По приезде в Иваново-Вознесенск, Фурманов встретился с бывшими фронтовиками. Он разъяснял им, как необходимо собирать все ценные материалы военных лет. Дмитрий Андреевич призвал товарищей писать воспоминания, которые принесут большую пользу подрастающему поколению.

По инициативе Фурманова при Ивановском губкоме РКП(б) создается военно-историческая комиссия, ведающая не только сбором материалов, но и выпуском брошюр и книг о минувших боях. Дмитрий Андреевич выступает в газете «Рабочий край» со статьями «Помните про исторический материал» и «Бойцам Иваново-Вознесенской губернии». В одной из этих статей он заявил: «Мы видели героизм великой армии, видели не меньший героизм многострадального и глубоко солидарного тыла. Мы жили в неведомой дотоле экономической обстановке, которая вот-вот готова была обрушиться и загубить нас, но мы... из каждой новой битвы выходили победителями. Пора подводить итоги минувшему периоду».

Когда Фурманов приезжал в Иваново-Вознесенск, там знали об этом почти все: он, как правило, присутствовал на партийных конференциях, о чем сообщалось в «Рабочем крае», выступал с публичными лекциями, писал статьи в газету.

В конце сентября Дмитрий Андреевич снова в родном городе. Он решил провести часть своего отпуска у родных. В те дни Дмитрий Андреевич нередко встречался со своими старыми товарищами, которые занимались литературным творчеством. Он от души порадовался, что в Иваново-Вознесенске ключом забила творческая жизнь: на страницах «Рабочего края» печатались стихи Авенира Ноздрина, Дмитрия Семеновского, Михаила Артамонова, Ивана Жижина и других. Местное издательство выпускало сборники, правда в большинстве случаев на общественно-политические темы, но и в них не обходилось без стихов, очерков и рассказов.



Семья Фурмановых: брат писателя Аркадий Андреевич с женой, мать Евдокия Васильевна, Дмитрий Андреевич Фурманов и его жена Анна Никитична.  
1919 год.

Дом Фурмановых, где состоялись проводы М. В. Фрунзе на фронт.



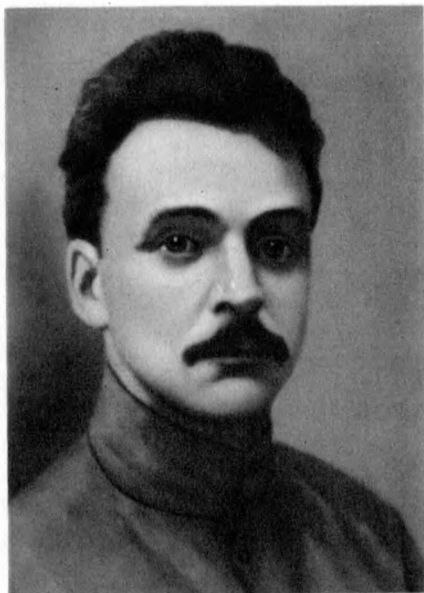


Д. Фурманов —  
комиссар чапаевской  
дивизии.  
1919 год.



Д. Фурманов и раненный в голову В. И. Чапаев  
среди командиров и политработников дивизии  
после взятия Уфы.  
Июнь 1919 года.

Д. Фурманов.  
1921 год.



Д. Фурманов за работой.  
1925 год.



Дочь писателя Анна Дмитриевна (справа) с чапаевкой Марией Андреевной Поповой.

Бывшие чапаевцы в Ивановском обкоме КПСС на торжественном вечере, посвященном 45-летию 220-го Иваново-Вознесенского полка. В центре Герой Советского Союза генерал-полковник Н. М. Хлебников, который командовал артиллерией в чапаевской дивизии.

1964 год.



Многих писателей Фурманов знал лично. Хорошо знал он рабочего поэта Авенира Ноздрина, побывавшего при царе в ссылке и едва ушедшего от кровавой расправы во время черносотенных погромов в 1905 году. Авенир Ноздрин с юных лет мечтал стать поэтом, много писал стихов, а печатался до революции очень редко: его поэзия не могла найти себе печатную трибуну и большей частью бытовала по конспиративным квартирам да в рабочих каморках. Знал Фурманов и поэта Михаила Артамонова.

В 1917 году поэт А. Ноздрин подготовил литературно-художественный сборник «Зеленый шум». В этот сборник вошло стихотворение Дмитрия Андреевича «Кавказ», написанное в 1915 году в Грузии.

Знал Фурманов и других литераторов, до революции гонимых и преследуемых. Редко кому из них удавалось печататься, а если и улыбался такой случай, то он не приносил морального удовлетворения. Что могла поместить единственная газетка «Ивановский листок», поганенькая по своему направлению?

И вот с первых дней Советской власти в городе во весь голос заявили о себе литераторы. В «Рабочем крае» то и дело печатались очерки, публицистические статьи Фурманова и стихи целой группы поэтов, сникавших любовь читателей.

Ивановскими поэтами заинтересовался А. М. Горький, который и прежде вел переписку с Дмитрием Семеновским. Через него Алексей Максимович познакомился с творчеством других ивановцев и, будучи в январе 1921 года на приеме у В. И. Ленина, рассказал о них Владимиру Ильичу.

После посещения Горького Владимир Ильич написал в библиотеку записку следующего содержания:

28.1.1921.

«Прошу достать (комплект) *«Рабочий край»* в Ив.-Вознесенске (кружок *настоящих* пролет. поэтов)

Хвалит Горький: Жижин  
Артамонов  
Семеновский».

Ивановскими поэтами интересовались Луначарский, Блок, Брюсов, и все это было не случайно: в городе сложились прочные литературные традиции,

нашедшие затем свое плодотворное развитие. Ивановцы внесли немалый вклад в большую советскую литературу. На широкую творческую дорогу вышли Михаил Дудин, Аркадий Васильев, Виктор Полторацкий, Михаил Кочнев и среди них первым был Дмитрий Фурманов.

Ивановцы с законной гордостью говорят об авторе бессмертного «Чапаева». А сколько он выступал в «Рабочем крае» с принципиальными статьями, в которых раскрывались задачи ленинской партийности в литературе!

Дмитрий Фурманов во многом способствовал развитию литературных сил в родном городе. Поэты-ивановцы любовно и вдохновенно произносили его имя в своих произведениях.

Ему посвящали свои лучшие строки Д. Семеновский и А. Благов, М. Кочнев и В. Полторацкий и многие другие литераторы, чье творчество складывалось и развивалось в Иваново-Вознесенске.

Замечательное стихотворение посвятил Фурманову Дмитрий Семеновский, высказав главное, за что любили Дмитрия Андреевича товарищи:

Суровых дней потока бурного  
Он был участник и певец.  
И дорогое имя — Фурманов —  
Храним мы в глубине сердец.  
Соратник Фрунзе и Чапаева,  
Поэт, военный комиссар,  
Он коммунизм в боях отстаивал  
И книги страстные писал.  
И в книгах тех неумирающих  
Сквозь гул и трепет бранных гроз  
Его друзья, его товарищи  
Встают пред нами в полный рост.  
Так светят яркими зарницами  
Картины незабвенных книг,  
И бьется сердце над страницами,  
Что дал писатель-большевик!

Осенью 1921 года Фурманов повидался почти со всеми поэтами и прозаиками, живущими в Иваново-Вознесенске, и не мудрено, что между ними шли самые душевные беседы.

Проведя несколько дней в родительском доме, среди сестер, Дмитрий Андреевич с женой решили поехать к старшему брату, Аркадию, в село Дунилово: слишком истосковался он по родной природе.

В Дунилово он пригласил с собой друзей по партийной работе — Александра Федорова, Валерьяна Наумова и Михаила Колесанова. Все запаслись охотничьими ружьями в надежде настрелять дичи. Вечер провели в деревенской хате за большим самоваром. Хлопотливая Анна Никитична не успевала подогреть самовар, и Фурманов шутил:

— Узнаю ивановских чаехлебов: пейте на здоровье!

Все собравшиеся оказались настолько близкими людьми, что понимали друг друга с полуслова, и порой достаточно было на что-нибудь намекнуть или мельком бросить замечание, как это становилось предметом воспоминаний о минувших днях, близких всем и трогающих каждого. С Александром Федоровым Фурманов работал в Совете, проводил бессонные ночи в ревкоме, а потом встретился с ним в политотделе 9-й армии Кавказского фронта. С Федоровым можно было и поговорить о серьезных делах и вдоволь посмеяться.

— Помнишь, Саша, — сказал Фурманов, — как ели мы курского гуся?

И начались веселые воспоминания о том, как однажды Федоров привез из Курска гуся и угостил Дмитрия Андреевича. После многодневной голодухи, картофельных очисток и воблы гусь пришелся куда как по вкусу, и оба друга взялись плясать, пока один из них не свалился от усталости.

Михаил Колесанов и Валерьян Наумов попеременно работали председателями Губчека. Оба были на фронте, и Наумов рассказывал, как он участвовал в подготовке народного восстания против Бухарского эмирата. Вспомнили, конечно, своего учителя М. В. Фрунзе. Перебрали в памяти много событий, и, казалось, не было конца разговорам, но Фурманов предупредил:

— Идите-ка спать на сеновал. Завтра я вас подыму чуть свет.

Рано утром друзья отправились с охотничьими ружьями в лес. Бродили они часов семь, до ломоты в плечах и ногах, а трофеев так и не добыли. Но все остались довольны прогулкой. Возвратившись домой, снова сели за самовар, снова переворошили в памяти былое.



В конце сентября Дмитрий Андреевич с женой вернулись в Москву. Фурманов написал для газеты «Рабочий край» статью «Завядший букет» — о вреде крикливых литераторов из декадентского лагеря.

В конце октября Дмитрий Фурманов с направлением от ЦК РКП(б) идет продолжать образование на факультет общественных наук МГУ.

---

## Бурные будни

Дмитрий Андреевич пришел в МГУ, когда ему было 30 лет. Для студента это многовато, немало и для человека, стремящегося стать писателем, но пока не имеющего ни одного произведения, которое принесло бы ему известность.

30 лет! Фурманов и сам порой глубоко задумывался над ушедшими годами. Но он хорошо понимал, что годы прошли не зря, особенно годы революции.

Дмитрий Фурманов не только учился, нет, он оставался в штате редакции журнала «Военная наука и революция», а дома часами обдумывал и писал свои произведения. К середине ноября он закончил повесть «Красный десант» — о рейде отряда под командованием Епифана Ковтюха в тыл врага. Дмитрий Андреевич отнес повесть в журнал «Красная новь» редактору Воронскому, приехавшему в Москву из Иваново-Вознесенска, где он редактировал газету «Рабочий край». Земляки встретились, но взгляды их на литературу оказались разными: Воронский не понял новаторского зачина Дмитрия Фурманова, не оценил его блестящих способностей писать документально-художественные произведения.

Воронский требовал зачеркнуть многие исторические факты, дать больше литературной выдумки, а Фурманов был убежден в обратном. Он совершенно сознательно раскрывал конкретно-исторические события и образы людей с их подлинными именами. Дмитрий Андреевич даже не стал доказывать Воронскому свою правоту, ибо редактор «Красной нови»

все равно не понял бы его далеко идущего новаторства.

Конечно, было неприятно получить отвергнутую рукопись, тем более из рук редактора журнала, призванного особенно чутко относиться ко всему новому. Но Фурманов сумел пережить это неприятное чувство. Он не растерялся, не опустил руки и, больше того, уверенно шел избранным путем, о чем прежде всего свидетельствует уже задуманный им «Чапаев».

Бурные, напряженные будни переживал в то время Дмитрий Андреевич. Он забыл, что существуют для людей выходные дни и праздники: каждому выходному дню он радовался прежде всего потому, что целиком можно было посвятить себя творчеству.

С упоением занимаясь литературой, он постоянно принимал участие во всевозможных диспутах, заседаниях, съездах, и на все хватало энергии. Люди, встретившиеся с ним всего лишь один раз, уносили о нем неизгладимое впечатление.

В начале декабря в Москве состоялось Всероссийское совещание работников красноармейской печати. Сюда собрались редакторы и военкоры из разных мест. На совещание приехали два брата, Николай и Василий Орловы, Николай — от воинских частей города Владимира, а Василий — от иваново-вознесенского гарнизона. Когда они стали регистрироваться, из-за стола навстречу им вышел Фурманов, отрекомендовался и сказал:

— Вот хорошо, что вы, товарищи, мои земляки. Прошу рассказать на совещании, как там у вас дела с красноармейской печатью. Кто пишет, что пишут?

Оба брата выступили, а после совещания Фурманов пригласил ивановцев и делегатов из Архангельска посетить литературный клуб поэтов «Кузницы». Все очень обрадовались: лестно было повидать московских поэтов, послушать их стихи, подольше побыть с самим Фурмановым, который так общителен, остроумен и внимателен к приезжим.

По пути в литературный клуб в вечерних сумерках под дождем не умолкала беседа: товарищи забрасывали Дмитрия Андреевича вопросами, каждому хотелось узнать побольше о писателях.

Василий Орлов, заведовавший в Иваново-Вознесенске красноармейским клубом, спросил:

— А где теперь мой любимый поэт Скиталец?

Все насторожились: стихи Скитальца были популярны в России и всем хотелось услышать о судьбе поэта.

— Скиталец? — с иронией произнес Фурманов. — Сейчас я вам покажу Скитальца. Слушайте, — добавил он и с той же иронией стал напыщенно декламировать:

Я оторван от жизни родимых полей,  
Позабыт своим краем далеким.  
Стал забыт для своих подъяремных людей  
И изгнанником стал одиноким.

Товарищи расхохотались: они сразу поняли замысел Фурманова. Ведь Скиталец когда-то претендовал на революционные стихи, а кончил плохо. Дмитрий Андреевич, обращаясь к Василию Орлову, с расстановкой сказал:

— Скиталец у-е-хал за границу, к белым. Как только мы было собрались к нему прийти, он струсил, не выдержал, уд-рал!

Так под дождем, промокшие до костей, добрались они в литературный клуб «Кузницы» и стали свидетелями бурных споров. Спорили здесь высокопарно, крикливо и беспринципно. Фурманов отозвал в сторонку делегата из Архангельска и посоветовал:

— А ну-ка, дружище, наберись смелости, выступи. Расскажи им, чего ждет народ от поэтов.

И вот зазвучала речь архангельского военкора. Говорил он не гладко, сначала волновался, нервно перебирал пуговицы гимнастерки, шарил по портупее, но, разговорившись, вошел в такой раж, что все притихли, насторожились, а он поддавал жару:

— Товарищи, писатели и поэты столицы свободной страны! Позвольте мне, представителю далекой северной окраины, сказать вам откровенно, без обиняков: вы здесь больше спорите о своих личных чувствах, а надо своим творчеством звать массы к окончательной победе над классовым врагом, надо включиться в громадную работу по социалистическому воспитанию масс и перестройке всего нашего хозяйства.

Говорил военкор вроде все известное, но говорил он от души и в конце речи заявил:

— Надо писать, как перестроить города, как через кооперацию перевоспитать крестьянство, как пустынные места превратить в огромные пшеничные и хлопковые поля, как в тундре можно и необходимо развести стадо оленей в пять миллионов голов!

Он кончил речь под бурные аплодисменты и одобрительные крики, больше всех аплодировал и восторгался Дмитрий Андреевич, обрадованный удачным выступлением рядового, безвестного в столице военкора.

Потом Фурманов проводил приезжих товарищей за Москву-реку на ночлег, принес им две буханки хлеба, пять селедок и распрощался:

— Отдыхайте, а я утром к вам приду...

С тех пор братья Николай и Василий Орловы, никогда прежде не видевшие Фурманова, встретившись с ним, уже не могли забыть его всю жизнь.

Споры до хрипоты шли тогда всюду, где приходилось бывать Дмитрию Андреевичу. В МГУ споры разгорались почти каждый день по любому поводу и случаю. Идеологическая борьба обострялась, да как ей и не быть острой, если в литературных кругах, в студенческих аудиториях, в учреждениях окопались меньшевики, буржуазные прихвостни, одни из которых шипели, науськивали, действовали тихой сапой, другие открыто устраивали дебоширство. Об этом в дневнике Фурманова много записей. Вот одна из них, относящаяся к декабрю 1921 года:

«Позавчера состоялось общефакультетское собрание студентов в аудитории № 1. Надо было избрать представителей в правление университета. Галдеж невероятный. Целый час избирали президиум собрания. Десяток меньшевиков — гладких, белых, выхоленных, примазанных, хорошо одетых, типичных белоподкладочников — вели свою... в общем глупо-подлую линию: во что бы то ни стало проводить не то, что предложили коммунисты... Поднялся шум. Видя, что ничего не выходит — меньшуги поднялись с мест и демонстративно стали выходить... Ярость у всех накалила. Одно время можно было ждать свалки... Всего ушло человек 20—25 из общего количества присутствовавших 450—500 человек».

Домой из МГУ Фурманов нередко возвращался с восемнадцатилетним поэтом Александром Жаровым, тоже студентом, комсомольским работником. Жаров нашел в лице Дмитрия Андреевича хорошего друга. Он попросту называл его Митяем. Александр Жаров как-то рассказал Фурманову, что ЦК комсомола поручил ему написать песню, а он не знает, как выполнить столь ответственное поручение. Жаров высказал мнение, что ему очень не хотелось бы, чтобы новые слова пелись на мотив какой-нибудь старой песни.

— Это ничего, — сказал Фурманов, — какое-то время нам придется использовать и старые формы. Вот еще песня. Флотская, новал, а на старый мотив. Ну и что же... А гляди, поется всюду:

По морям, по волнам,  
Нынче здесь, а завтра там...

Он оборвал свое пение и задумчиво сказал:

— Знаешь, почему это хорошо? Потому, что не только моряков, а всех нас касается... Нынче здесь, а завтра там... Это ведь о судьбе целого поколения...

Через несколько дней Жаров пел Митяю свою песню:

Взвейтесь кострами  
Синие ночи!  
Мы пионеры —  
Дети рабочих.  
Близится эра  
Светлых годов.  
Клич пионера —  
Всегда будь готов!

Фурманов с восторгом обнял поэта, спел с ним еще раз полюбившуюся песню. Вскоре ее подхватили миллионы красногалстучных ребятишек, и немало песен той поры позабылось, а эту поют до сих пор...

Так пролетали дни в жизни Фурманова. Совсем недавно приехал в Москву, размышлял Дмитрий Андреевич, а уже написана первая повесть «Красный десант». Хочется создать многое, нельзя упустить время, нельзя расточать его даром, надо сделать по возможности все, на что способен.

Так думал Фурманов. А перед ним уже вырисовывались стройные картины «Чапаева».

---

## Почин, получивший признание

Как дать «Чапая»? — вот вопрос, который терзал Дмитрия Андреевича. Материала целые горы. Садись и пиши, пиши день и ночь, пока не свалишься от усталости. Однако как дать Чапая? От решения этого вопроса зависит многое другое и, конечно, будущий успех книги.

«Красный десант» написан, но пока не оценен и не напечатан. Больно отзывались в душе реплики некоторых высокомерных литераторов о том, что это «не настоящая литература», а «хроника», «публицистика». И все-таки Дмитрий Андреевич пошел намеченным путем.

Прежде всего, по возможности сохранить всю историческую канву, ведь она куда ярче любых воображаемых литературных выдумок! — так думал Фурманов. Он решил и героев дать с их подлинными именами, ибо они настоящие герои, с благородными идеями и пламенными мечтами. Вот себя, пожалуй, и некоторых других лиц, оставшихся в живых, надо дать под вымышленными фамилиями. А как дать Чапая? — снова и снова думал он.

Дмитрий Андреевич начал работать над рукописью в январе 1922 года. Он развернул все свои дневники и заметки, сделанные на фронте. Каждая пометка вызывала в памяти целые картины. Но этого ему казалось мало. Он шел в архивы, встречался с чапаевцами, листал подшивки газет.

Он перечитал очерки и статьи, написанные для «Рабочего края» о чапаевской дивизии: «Пилюгинский бой», «Уфимский бой», «Освобожденный Уральск», «Как погибли тов. Чапаев и Батулин», — и решил, что они стали неплохой прелюдией будущей книги. Если сличить очерки со страницами «Чапаева», то можно убедиться, что некоторые из них он развернул в целые главы, широкие картины.

24 марта Фурманов записывает в дневник: «Поглощен. Хожу, лежу, сижу, а мысли все одни: о Чапаеве...

Голова и сердце полны этой рождающейся повестью. Материал как будто созрел. Ощупываю себя со всех сторон».

К середине августа Дмитрий Андреевич ясно представлял себе композицию рукописи — расположение глав, ход событий и судьбу героев, но главный вопрос: «Как дать Чапая?» — все еще продолжал его волновать. 19 августа он записывает в дневнике: «Вопрос: дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную?»

Склоняюсь больше к первому».

И Фурманов решил раскрыть образ Василия Ивановича «со всей его человеческой требухой». Ему казалось, что дать характер Чапаева только как героя — без сучка и задоринки — противоречило бы художественной и исторической правде. Если он герой с ног до головы, то тогда все свое значение теряет образ посланца партии комиссара Федора Клычкова, оказавшего неоценимое влияние на Чапаева. В этом великая сила и мудрость нашей партии, начавшей социалистическое воспитание человека с первых дней Советской власти.

Больше того, решение писателя показать Чапаева «с мелочами, с грехами» дало возможность Фурманову блестяще раскрыть политический и духовный рост героя, в прошлом связанного с деревней, обреченного царизмом на беспросветное существование.

Было бы нелепо думать, что Фурманов, работая над рукописью, не прибегал к литературному вымыслу и стремился все изобразить с точностью, до каждой мелочи. Дмитрий Андреевич был большим художником и знал, что литературный вымысел не противоречит художественной правде, если он дается с предельным тактом. Вот что он писал об этом в дневнике: «...обрисованы исторические фигуры — Фрунзе, Чапаев. Совершенно неважно, что опущены здесь мысли и слова, действительно ими высказанные, и, с другой стороны, приведены слова и мысли, никогда ими не высказывавшиеся в той форме, как это сделано здесь. Главное, чтобы характерная личность, основная верность исторической личности была соблюдена... Одни слова были сказаны, другие могли быть сказаны... Только не должно быть ничего искажающего верность и подлинность событий и лиц».

Эти мысли Фурманова сами по себе не новы. Их утверждали в разных формах Лев Толстой и Чехов, Горький и очень многие другие писатели, всегда считавшие, что вымысел не противоречит художественной правде.

С именем Фурманова в советской литературе связан новаторский почин, получивший широкое признание.

Фурманов одним из первых в 20-х годах пошел по пути, который указал Горький — основоположник социалистического реализма. Фурманов показал революционные массы в действии, борьбу советского народа за власть рабочих и крестьян. Он правдиво передал героике гражданской войны, отобразил решающую роль пролетариата, показал, как трудовое крестьянство приходит к идеям социалистической революции.

Дмитрий Андреевич смело и талантливо ввел в литературу многих героев с их подлинными именами. Герои Фурманова — это живые герои. Они приобрели миллионы поклонников, стали достойными подражания.

Теперь можно было бы привести целый список произведений, авторы которых шли в той или иной мере вслед новаторскому почину Фурманова. Среди них «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и многие другие книги.

Когда Дмитрий Андреевич работал над «Чапаевым», он терялся в определении его жанра. Что это: повесть?.. воспоминания?.. историческая хроника?.. баллада?.. очерк?.. или что-то другое?

До сих пор литературоведы пишут исследования и диссертации, в которых стремятся определить наиболее полно жанр фурмановских произведений. Сам автор назвал в конце концов «Чапаева» очерком, но тут сказала просто скромность писателя. Ясно одно: Фурманов был зачинателем документально-художественных произведений.

Его «Чапаев» и «Мятеж» — это документально-художественные книги, рисующие героическую эпоху гражданской войны и раскрывающие перед читателем немеркнущие образы.



4 января 1923 года Дмитрий Андреевич записал в дневник: «Только что закончил я последние строки «Чапаева»... И остался я будто без лучшего, любимого друга. Чувствую себя, как сирота. Ночь. Сажу я один за столом у себя — и думать не могу ни о чем... Сажу и вспоминаю: как я по ночам — страницу за страницей писал эту первую многомесячную работу... Приблизился час моего вступления в литературную жизнь. Прошлое — подготовка».

И вот «Чапаев» принят к печати... Книгу горячо поддержали и приветствовали старые коммунисты, стоявшие у кормила советской культуры, — Лепешинский, Ольминский, Луначарский. Приветствовал появление «Чапаева» и писатель Серафимович.

В марте 1923 года «Чапаев» вышел в свет. 18 марта Фурманов позвонил в Истпарт. Ему сообщили о выходе книги. В тот же день он записал в дневник: «Я сорвался, помчался. Вхожу с замораньем... Тут же скоро случился Лепешинский, улыбается доброй старческой улыбкой, жмет руку:

— Хорошо. Очень хорошо. Это одно из лучших наших изданий... Это ново. Читать нельзя иных мест без волнения... Успех будет большой...

Меня эти речи старейшего большевика-литератора взволновали и обрадовали.

— Пантелеймон Николаевич, я хотел бы вам книжку на память и надписать бы на ней.

— Очень, очень рад буду. Ну-ка, сейчас же давайте-ка, сразу.

И он искренне, радостно засуетился. Книга скоро была у меня в руках. Написал: «Уважаемому Пантелеймону Николаевичу Лепешинскому, чья рука по-дружески бережно, любовно прошлась по «Чапаеву» и устранила добрую половину его недостатков. Этой помощи никогда не забуду».

Он с влажными глазами, торопясь, когда уже прочитал и снова вышел ко мне:

— Это напрасно... Слишком... Очень уж вы...

А я ему так благодарен, так благодарен, ведь это он поспособствовал создать «Чапаева»; все первые мысли, первые разговоры были только с ним одним. Спасибо. Очень спасибо...»

В течение 1923—1926 годов «Чапаев» выдержал несколько изданий и до сих пор переиздается и

переводится на языки братских народов и за рубежом.

Никто из выдающихся писателей и общественно-политических деятелей не бросил Фурманову упрека за документальную основу его произведений; больше того, они видели в его книгах смелое новаторство.

«Как читатель, я, разумеется, скажу вместе с тысячами других Ваших читателей: «Чапаев» и «Мятеж» интереснейшие и глубоко поучительные книги» — так писал Фурманову А. М. Горький.

«В сущности говоря, — заявлял Луначарский, — я знаю в нашей богатой послереволюционной советской по своим настроениям литературе лишь два произведения, которые дают такие неизгладимые, яркие и, я бы сказал, воспитательные впечатления. Это «Железный поток» Серафимовича и «Чапаев» Фурманова».

Фурманов был одним из первых писателей, создавших образ коммуниста Федора Клычкова, образ, олицетворяющий мудрость и дальновидность нашей партии. Без Федора Клычкова не могло бы быть «Чапаева». Писатель с изумительной силой правды раскрыл ведущее влияние нашей партии в воспитании человека.

«Чапаев» — это книга не только о народном герое, легендарном полководце-самородке, — на ее страницах во весь рост даны представители Коммунистической партии, смелые, самоотверженные, находчивые, умеющие решать самые сложные задачи в трудных условиях.

Федор Клычков, иваново-вознесенские коммунисты как представители одного из передовых отрядов рабочего класса становятся выразителями всего лучшего, что связано с думами и чаяниями народа.

Они принимают на себя первый удар врага, первыми идут в решающие атаки, и притом в их поступках всегда сказывается политическая зрелость и умение повести за собой массы.

Характеризуя положение на фронтах гражданской войны в 1919—1920 годах, В. И. Ленин дал иваново-вознесенским рабочим высокую оценку, говоря, что «иваново-вознесенские, питерские и московские рабочие перенесли за эти два года столько, сколько

никогда не переносил никто другой в борьбе на красных фронтах»<sup>1</sup>.

Дмитрию Фурманову посчастливилось работать с людьми, которые воплотили в себе лучшие черты коммунистов-ленинцев. Их образы с потрясающей художественной правдой он раскрыл в «Чапаеве». Он показал, как иваново-вознесенские ткачи, Федор Клычков всюду выступали зачинателями нового, умело находили ключи к сердцу тех, кому необходимо было открыть глаза на многие вопросы и широкие горизонты великого будущего нашей Родины.

Теперь с полным основанием можно говорить о традициях Фурманова, получивших широкое развитие не только в нашей стране. Глубоко прав Александр Исбах, утверждая, что «традиции Фурманова воплотили и в своей горячей жизни и в своих книгах и болгарин Никола Вапцаров, и чех Юлиус Фучик, и венгр Матэ Залка, и сохранивший несломленный дух, не покоренный даже в страшных застенках Моабита наш славный товарищ Муса Джалиль».

---

## Редактор

В середине сентября 1923 года Дмитрий Андреевич пришел на редакторскую работу в Государственное издательство. Дело знакомое: за плечами был опыт работы в газете XI армии «Красный воин», в журнале «Военная наука и революция». Он быстро освоился на новом месте.

Правда, теперь ему пришлось работать не с военкорами, а с писателями, порой довольно щепетильными и набивающими себе цену, но автор «Чапаева» уже достаточно повидал в жизни разных людей и знал, как и с кем надо разговаривать.

Придя в Госиздат, Фурманов отчетливо представлял, какие перед ним стоят задачи. Здесь не должно быть и тени кабинетного работника, умеющего

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 296.

ставить безапелляционные резолюции на рукописях: «Пойдет» или «Не пойдет». Советская литература переживала период становления, трудных поисков, многие авторы нуждались в добрых советах, некоторые писатели испытывали на себе влияние упадочнической, декадентской литературы и честно хотели стряхнуть с себя неприятный груз прошлого. Значит, надо быть редактором-организатором, другом, чутким советчиком.

Именно таким редактором был Дмитрий Андреевич. К нему одинаково охотно шли разные писатели, от Алексея Толстого и Сергея Есенина до совсем молодых в то время Федора Панферова, Александра Жарова и других.

Бывали здесь и литераторы, пытавшиеся навязать рукописи, от которых несло мещанской плесенью, проповедью буржуазного индивидуализма. И в таких случаях Фурманов знал, что делать. Он становился строгим судьей всего отжившего, что мешало развитию молодой советской литературы.

Интересные воспоминания написала о Фурманове-редакторе Галина Серебрякова. Она работала вместе с Дмитрием Андреевичем в Госиздате. В то время она только что со студенческой скамьи пришла на редакторское поприще и занималась выпуском календарей. «Однажды, — пишет Г. Серебрякова, — читая календари и морщась над справками о том, как пересыпать нафталином ковры и портьеры, он сказал:

— Хорошо бы издать календарь «Ленин», с хронологическими датами и пояснениями истории пролетарской революции, партии и ее великого учителя.

Фурманов же посоветовал издавать календари бичующей советской сатиры. В них наши лучшие сатирики и юмористы безжалостно обличали бюрократов и нэпманов.

Дмитрий Андреевич умел, как никто, не только рассказывать, но и слушать. Его внимание к рассказчику, неподдельный интерес, замечания раскрывали сердца. В Госиздате к нему постоянно приходили со всеми сомнениями, за советом сотрудники и товарищи».

Фурманов вел активную борьбу с литераторами, чуждыми советской действительности. Он убеждал, что великое будущее принадлежит именно советской литературе. В ту же осень 1923 года Дмитрий Андреевич вступил в литературную группу «Октябрь». В работе ему помогали писатели, твердо стоявшие на позициях ленинской партийности в литературе. 14 сентября он записал в дневник: «Давно ощущал потребность прикоснуться к организованной литературной братии. Вернее работа. И строже... И так — в «Октябрь». Почему сюда? Платформа ближе, чем где-либо».

Писательская группа «Октябрь» тоже не была монолитной по своему составу. Но большинство литераторов занимали принципиальные позиции. Дмитрий Андреевич становится самым авторитетным товарищем, к его голосу внимательно прислушиваются, а к литературному дарованию относятся с исключительной любовью. В декабре он заносит в дневник:

«Вчера пришел ко мне Бабель...

Главный разговор — о «Чапаеве».

— Это — золотые россыпи, — заявил он мне. — «Чапаев» у меня — настольная книга. Я искренне считаю, что из гражданской войны ничего подобного еще не было. И нет... Я сознаюсь откровенно — выхватываю, черпаю из вашего «Чапаева» самым безжалостным образом».

И эти слова говорил Бабель, автор талантливого и признанного произведения «Конармия»! Не удивительно, что начинающие, молодые писатели шли к Фурманову, в Госиздат, надеясь встретить в его лице доброжелателя и опытного советчика. Интересные воспоминания написал Федор Панферов о встречах с Фурмановым.

Ф. Панферов рассказывает, как он впервые представил себе Фурманова по прочитанной книге «Чапаев», случайно купленной на одной из железнодорожных станций. С первых страниц книга произвела на него такое впечатление, что он прочитал ее, не отрываясь. Автор «Чапаева» рисовался Панферову таким писателем, который вводит в литературу настоящих народных героев и может дать много ценных советов ему, молодому литератору.

В то время Панферов написал небольшую повесть «Огневцы», рассказывающую о рождении сельскохозяйственной артели. Не терпелось встретиться с Фурмановым. Он пришел к нему с рукописью в Госиздат. Дмитрий Андреевич приветливо встретил молодого автора и попросил оставить рукопись недели на две. Когда Панферов явился снова в Госиздат, Фурманов сначала обрадовал его, а затем озадачил, и между ними состоялся довольно оригинальный разговор.

«— Нам ваша вещь понравилась. Вот и договор подпишем, но... А вы садитесь, товарищ Панферов, садитесь...

Вы, товарищ Панферов, напали на очень ценную литературную жилу, но не разработали ее. Так, чуть-чуть, поверхностно, ковырнули, и результат своего ковырянья... хотя и хороший... принесли мне. Мы его принимаем и договор с вами готовы подписать — в течение месяца-другого вашу повесть издадим. Но...

Фурманов, видимо, находился в затруднении. Возможно, боялся спугнуть молодого писателя и в то же время желал как можно лучше помочь.

— Вы, товарищ Панферов, читали про золотоискателей?

— Мамин-Сибиряк, Джек Лондон, например, — ответил Панферов.

— Ну вот-вот! — Фурманов даже обрадовался. — Помните, как там разрабатывают золотоносные жилы?

— Да, конечно.

— Так вот, дорогой мой, вы напали на народную жилу, она гораздо ценнее золотоносной. Пишите роман и не перебегайте себе дорогу этой повестушкой. — Он чуточку помолчал и с сияющими глазами воскликнул: — Берите шире! На такое нам, литераторам, народ дал право... Надо написать роман, который читался бы не только у нас в стране, но и в Китае, Индии, арабских странах, на Балканах — во всем мире.

«Ох, как он расширяет тему — на весь мир», — подумал Панферов и, поднявшись, затряс руку Фурманова.»

Издание повести Панферова «Огневцы» в Госиздате не состоялось: молодой автор ушел вдохновленный на роман большого звучания. Между тем Дмитрий Андреевич делился со своими товарищами радостными впечатлениями о даровитости Панферова, предсказывая ему заслуженную литературную славу.

Встретив Александра Исбаха, он спешил рассказать:

— Был у меня сейчас интересный человек. Из самой глубинки... Панферов, Федор. Разве я тебе не говорил о его рукописи? «Огневцы»... Деревню знает прекрасно!..

Через два года после этого разговора выходит роман Ф. Панферова «Бруски». Этот роман поставил Панферова в ряд выдающихся советских писателей. Дмитрию Андреевичу не пришлось прочитать «Бруски»: его уже не было в живых.

Редакторская деятельность Фурманова в Госиздате помогла ему ближе узнать писателей, острее увидеть идеологическую платформу литературных группировок, которых так много было в те годы. Дмитрий Андреевич умел быстро различать друзей и врагов и в то же время чутко относиться к тем, кто по своему политическому недомыслию находился в лагере чуждых настроений и нуждался в поддержке.

В мае 1924 года вышел первый номер «Октября». Фурманов четко определил задачи журнала. Он писал: «Борьба за пролетарскую литературу должна быть строго организованной. Мы понимаем ее не как партизанские выступления и налеты на литературном фронте отдельных литературных групп, течений, кружков и т. д. Она, эта борьба, для нас представляется широким общественным течением, должествующим вовлечь в свое русло все существующие и разъединенные пока группы и организации, имеющие основной своей организационной целью единый фронт пролетарской литературы».

Дмитрий Андреевич как редактор Госиздата и журнала «Октябрь» продолжал славные горьковские традиции в собирании лучших, талантливых сил писателей. Он выступал организатором, другом молодых дарований, стремясь любовно поддержать ростки

всего нового, что способствовало становлению социалистического реализма. Журнал «Октябрь» стал одной из лучших литературно-художественных трибун советских писателей.

Работая редактором, Фурманов продолжал заносить в свой дневник интересные записи об отдельных писателях и о литературных течениях. Он оставил в дневнике ценные характеристики ряда поэтов, прозаиков и драматургов, их неповторимые портретные детали, манеру читать прозу или стихи, своеобразие ума и поведения. Вот что он записал о Сергее Есенине в декабре 1925 года, в связи с гибелью поэта: «Сережа-то Есенин: по-ве-сил-ся!..

Я сижу, вспоминаю последние мои с Сережей встречи... Пришел он с неделю-полторы назад к нам в отдел — мы издаем ведь его собрание сочинений... Входит в отдел... Вынул из бокового кармана сверток листочков:

— Прочешь, что ли?

— Читай, читай, Сережа...

Мы жадно глотали ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха...

А Сережа читал... В читке его, в собственной, в есенинской, стихи выигрывали. Сережа никогда не ломался...

Кто видел его трезвым, тот запомнит, не забудет никогда кроткое по-детски мерцание его светлых, голубых глаз.

И если улыбался Сережа — тогда лицо его становилось вовсе младенческим: ясным и наивным... Он был чист, строен, красив — у него же одни русые кудельки чего стоили!»

Эти короткие, но характерные записки стали потом предметом исследования многих литературоведов, занимающихся не только творчеством Дмитрия Андреевича, но и вообще вопросами истории советской литературы.

Фурманов внес в редакторскую деятельность свои организаторские способности, творческую инициативу, и все эти черты находили все более широкое утверждение среди редакторских кадров наших многочисленных газет, журналов и издательств.

---



## Жить и работать по Ленину

Вся страна в трауре. На лицах людей не просыхают слезы. Все думают только о нем, об Ильиче, о вожде партии и организаторе Советского государства.

Центральные улицы Москвы — Тверская, Дмитровка, Петровка — и многие другие переполнены народом. Никто не хочет смириться с трагической мыслью о том, что Ленина уже нет. Среди несметного количества людей идет проститься с Ильичем и Дмитрий Фурманов. Как и все, он не чувствует леденящей стужи. Много воспоминаний, связанных с обликом вождя, проплывают в памяти.

Вспомнил Фурманов, как впервые открыл перед ним идеи Ленина Михаил Васильевич Фрунзе. С тех пор он дал себе клятву жить и работать по Ленину. Ленин одухотворял его на крутых дорогах гражданской войны, в самые страшные минуты, в самых, казалось бы, безвыходных обстоятельствах. Идеи Ленина воодушевляли его на творческие дерзания, открывали перед ним широкие горизонты в жизни.

Свои думы об Ильиче Дмитрий Андреевич не раз поверял дневнику. 4 сентября 1921 года в его дневнике записано: «Он, Ленин, думает за целый мир, несет совершенно непосильную тягу. Он каждую минуту жизни должен знать о том, что совершилось где-нибудь в Португалии, что готовится, чего можно ожидать и как скоро в Германии, Швеции, Китае... он должен знать все крупнейшие мероприятия в области советского строительства, все новое в области профдвижения, он должен сказать новое слово в кооперации, указать пути партийного строительства, знать факты, цифры, цифры, цифры... Ведь каждое его слово — закон. Оно чрезмерно авторитетно, ему верят как откровению, этому сказанному слову Ильича... И эти слова, сказанные «самим Лениным», приобретают магическую, таинственную силу, в них вслушиваются и вдумываются решительно все без исключения, в них находят откровение, видят пути разрешения, спасения, победы».

Тогда же Фурманов записал мысли о том, чтобы каждый человек стремился своим трудом снять значительную часть громадной тяжести с плеч Ильича. «Делать это надо,— пишет он,— чем больше и чаще, тем лучше».

Фурманов бережно хранил в памяти не только мысли, высказанные вождем, но и его внешний облик, с характерным выражением лица, убедительными жестами, доброй улыбкой.

И вот Ленина не стало. Теперь вспоминалось все, что он слышал из уст вождя, все, что рассказывали ему о нем боевые друзья на фронте.

...Декабрь 1919 года. Ильич на трибуне VII съезда Советов. Фурманов, делегат резервных воинских частей Туркфронта, слушает его выступление. Кругом бушует гражданская война. Заграничная печать предсказывает повсеместное падение Советской власти, а Ленин с трибуны съезда уверенно говорит:

— Товарищи, мы повторили здесь мирное предложение всем державам и странам... Мы выразили здесь уверенность, основанную на опыте, который у нас уже очень богат и очень серьезен,— уверенность в том, что главные трудности остались позади и что из той войны, которую навязала нам Антанта, из той войны, которую мы ведем два года против неприятеля, во много раз более сильного, чем мы, мы несомненно выходим победоносными.

А речь вождя на VIII съезде Советов! Ленин раскрыл генеральный план партии на многие годы. Фурманов помнил заключительные слова речи так явственно, словно Ильич сейчас стоял совсем рядом и говорил:

— Надо добиться того, чтобы каждая фабрика, каждая электрическая станция превратилась в очаг просвещения, и если Россия покроется густой сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии.

Вспомнил Дмитрий Андреевич, как вернулся он после съезда в политотдел 9-й Кубанской армии, писал статьи в красноармейские газеты о великом ленинском плане электрификации России, как делился своими впечатлениями об Ильиче.

Еще одну речь Ленина Фурманов хранил в памяти особенно бережно. Эта речь перед слушателями Свердловского университета была опубликована в «Правде». Впоследствии Дмитрий Андреевич рассказывал, что выступление вождя сыграло громадную роль в его творчестве. Вот что говорил Ленин:

— Сегодня я видел товарищей иваново-вознесенских рабочих, которые сняли до половины всего числа ответственных партийных работников для отправки на фронт. Мне рассказывал сегодня один из них, с каким энтузиазмом их провожали десятки тысяч беспартийных рабочих и как подошел к ним один старик, беспартийный, и сказал: «Не беспокойтесь, уезжайте, ваше место там, а мы здесь за вас справимся». Вот когда среди беспартийных рабочих возникает такое настроение, когда беспартийные массы, не разбирающиеся еще полностью в политических вопросах, видят, что мы лучших представителей пролетариата и крестьянства отправляем на фронт, где они берут на себя самые трудные, самые ответственные и тяжелые обязанности и где им придется в первых рядах понести больше всего жертв и погибнуть в отчаянных боях, — число наших сторонников среди неразвитых беспартийных рабочих и крестьян вырастает вдесятеро и с войсками, колебавшимися, ослабевшими, усталыми, происходят настоящие чудеса.

...Многое передумал, перечувствовал Дмитрий Фурманов в те часы, когда он вместе с тысячами людей медленно двигался к Дому союзов.

Придя домой, он записал в дневник: «Я шел по красным коврам Дома союзов — тихо, в очереди, затаив дыханье, думал: «Сейчас увижу лицо твое, Учитель, — и прощай. Навеки... Он, говорят, перед смертью не страдал — умер тихо, без корч, без судорог, без мук. Эта тихая смерть положила печать спокойствия и на дорогое лицо. Как оно прекрасно, это лицо!.. Я видел Ильича последний раз года два-три назад. Теперь, в гробу, он бледней, худей — осунулся вдвое, только череп — крутой и гладкий, — как тогда, одинаков... Брови, словно приклеенные, четко отделяются на бледном лице — так при жизни они не выступали — теперь кажутся они и гуще и черней... Идем и оглядываемся — каждому еще и еще

хоть один раз надо взглянуть на лицо, запечатлеть его в памяти, до конца дней запомнить».

Фурманов понимал, что смерть вождя не должна вызвать растерянность, наоборот, тот, кому он был дорог, должен найти в себе силы, чтобы еще упорнее трудиться, жить по-ленински. Дмитрий Андреевич все настойчивее думает о создании большого произведения о ткачах, о тех людях, которые неоднократно получали самую высокую оценку вождя.

В беседах с другом, венгерским писателем Матэ Залка, Фурманов высказал ему свой сокровенный замысел: — Написать бы «Ткачей», — говорил он, — только не по Гауптману, а по Ленину. Ивановские ткачи — народ хороший, ворчливый, бедный, но пролетарский дух из них вышибешь только с жизнью. Много сделали ивановские товарищи для революции — и делали это от всего сердца.

Фурманов был хорошо знаком с драмой немецкого писателя Гергарта Гауптмана «Ткачи», в которой автор изобразил силезских текстильщиков, поднявшихся против насилия буржуазии. Ткачи Гауптмана поднимают восстание, но ничего в конечном счете не достигают, ибо их восстание носит стихийный характер. Вот почему Фурманов думал написать образы ткачей не по Гауптману, а по Ленину, дать их высокосознательными борцами.

Дмитрий Андреевич считал себя воспитанником ивановских ткачей, всегда чувствовал перед ними свой долг. В его воображении рисовались все новые замыслы. Фурманов умер в расцвете сил, но ткачей он все-таки успел написать по Ленину, создав неувядаемые образы героев текстильного края. Его очерки «Талка», «Как убили «Отца»», «На подступах Октября», «Слава черному городу», «Маруся Рябинина» и другие связаны с революционным восхождением ткачей, их беззаветными подвигами и свершениями.

В статье «Слава черному городу» нельзя не видеть глубокого смысла, определившего замысел всех других произведений о ткачах. «Слава тебе, прокопченный от фабричного дыма, черный город Иваново-Вознесенск! Ты сумел вскормить могучую пролетарскую семью, у которой славные сыны раскиданы по лицу пролетарской республики. Твои рабочие пер-

выми ударили в лоб Колчака и погнали его вспять... А теперь — где их не встретишь? Они сражались против Анненкова и Щербакова на далекой китайской границе; они помогали рабочим Хивинского и Бухарского государств уничтожить деспотию и водрузить светлое знамя; они работают теперь на хлопковых плантациях Ферганы и на рыбных промыслах Каспийского моря; много их разбросано по оренбургским и уральским степям, осело на советскую работу по казацким станицам... А куда ушли эти последние красные отряды, которых в Москве так тепло встречал и провожал товарищ Ленин? Верно — на польский фронт и там, на Западе, — все они твои верные сыны, чумазый город Иваново-Вознесенск.

Много дорогих жертв принес ты на алтарь рабочей революции, старый, черный город. Да будет славно твое имя».

А «Чапаев» — разве это не широкая панорама о ткачах, исполненная рукой дерзновенного художника-коммуниста, видевшего прекрасное будущее народа!

Художественная ткань «Чапаева» с первой до последней страницы проникнута направляющей, ведущей ролью ивановских ткачей, олицетворявших великие идеи партии. Особенно в первых главах писатель убедительно раскрывает, какая сила таится в ткачах, как дальновидны они во всех своих делах и поступках. Это они ехали на фронт и думали вести войну «не только штыком, но еще и здоровенной головой», это они принимали на себя вражеские удары и разбивали превосходящие силы противника, это они в глазах Чапаева были самыми сознательными храбрецами, которым можно доверить все на свете.

Последние три года жизни Дмитрия Андреевича Фурманова были насыщены новыми творческими замыслами и свершениями. Не успел выйти в свет в марте 1923 года «Чапаев», как он уже работает над повестью «В восемнадцатом году» — о гражданской войне на Кубани — и, закончив ее, пишет «Мятеж».

Сохраняя в памяти и дневниковых записях все, даже мельчайшие детали верненской драмы, он, однако, тщательно изучил десять томов архивных документов. Фурманов талантливо изобразил маленькую горстку коммунистов, оказавшуюся перед ог-

ромной мятежной толпой и мудро решившую исход событий. «Мятеж» обрел право на долгую жизнь среди лучших произведений социалистического реализма.

Повесть «Мятеж» вслед за «Чапаевым» прочно утверждала новаторский почин Дмитрия Фурманова в литературе. Его книги расходились с невероятной быстротой. Уже к концу 1925 года повести «Красный десант», «В восемнадцатом году» и «Мятеж» вышли повторными изданиями, «Чапаев» выдержал три издания.

Труд Дмитрия Андреевича в литературе очень многогранен. Наряду с большими работами он создавал рассказы и очерки, писал рецензии на новые книги, готовил выступления для различных писательских конференций и дискуссий.

Осенью 1925 года Фурманов пережил большое горе: 31 октября умер М. В. Фрунзе. Можно себе представить, какой удар постиг Дмитрия Андреевича. Ведь Фрунзе он считал своим духовным отцом, вместе с ним работал в партийном аппарате, а затем под его непосредственным руководством сражался на фронтах гражданской войны.

1 ноября 1925 года Дмитрий Андреевич выступил с взволнованной речью перед слушателями школы ВЦИК:

— Как тяжело сознавать, — говорил он, — что нет его, что где-то вот там, у великой гробницы вождя, у Кремлевской стены, вырастет новый бугорок земли и под ним вечным сном будет покоиться наш любимый Михаил Васильевич.

Фурманов обращается к литераторам от имени Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей с призывом запечатлеть облик Фрунзе в художественном слове. Образ полководца, созданный им в «Чапаеве», а также в очерках, написанных в 1925 году и вошедших в его собрание сочинений под заголовком «Фрунзе», можно безошибочно отнести к лучшему, что есть в художественной литературе о Михаиле Васильевиче.

Фрунзе был для Фурманова идейным руководителем и другом. Жизнь Михаила Васильевича — это блестящий пример служения народу. Именно Фрунзе научил Фурманова жить и работать по Ленину.

В этот период Дмитрий Андреевич напряженно работает. Имя Фурманова появляется почти во всех столичных литературно-художественных и общественно-политических журналах, в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда». В «Правде» он публикует очерки «Как убили «Отца»», «Маруся Рябинина»; в журнале «Октябрь» появляется очерк «Талка» и статья «О «Железном потоке» А. Серафимовича». За два года до смерти Дмитрий Андреевич опубликовал в центральной и периодической печати около 100 очерков, рецензий и различных заметок.

В конце 1925 года Фурмановым был задуман большой роман «Писатели», в котором он решил показать всю сложность идеологической борьбы среди литераторов того времени. Он успел уже сделать наброски романа, осмыслил черты характеров различных писателей, сделал, как обычно, немало интересных записей в дневнике. Фурманов лучше, чем кто-либо, мог раскрыть широкую картину становления советской литературы. Он читал друзьям первую главу романа. Дмитрий Андреевич не успел написать роман, но в области борьбы на идеологическом фронте успел сделать очень много.

Фурманов всюду выступал как солдат революции. Партийность была душой его поведения, его книг и сражений на идеологическом фронте. «Настоящий художник,— писал он,— всегда выходить должен на широкую дорогу, а не блуждать по зарослям и тропинкам, не толкаться в скорбном одиночестве». И еще: «Надо уметь любить пульс жизни, надо всегда за жизнью поспевать,— коротко сказать, надо быть всегда современным, даже говоря про Венеру Милоскую».

Работая в 1924—1925 годах в секретариате Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП), Фурманов находился под перекрестным огнем самых различных литературных группировок. Однако с явными врагами сражаться было все-таки легче, чем с теми, кто протаскивал буржуазную идеологию в завуалированной форме, путем коварного двурушничества и прикрываясь билетами пролетарских писателей. А такие двурушники пробирались даже к руководству МАПП и, конечно, немало потрепали нервы Фурманову.

Они травили его за то, что он ходит в ЦК партии и советуется там по вопросам литературы. 18 апреля 1925 года Фурманов по этому поводу записал в дневник: «Я пошел к представителю отдела печати ЦК потому, что не считаю зазорным вообще по некоторым вопросам заходить посоветоваться в ЦК, и только групповым злопыхательством, только исключительной узостью подхода и даже несознательностью можно объяснить убеждение, будто в ЦК вообще ни с чем нельзя ходить за советом».

Для Фурманова ленинский Центральный Комитет всегда был олицетворением мудрости. 23 апреля он заносит в дневник следующие темпераментные строчки под заголовком «ЦК»: «Какая гордость и какой восторг охватывают тебя, когда увидишь, услышишь, почувствуешь эту несокрушимую мощь своего штаба!.. Эх, ЦК, ЦК: в тебе побудешь три минуты, а зарядку возьмешь на три месяца, на три года, на целую жизнь».

С осени 1924 года Дмитрий Андреевич входит в коллегия по вопросам печати, созданную при Московском комитете партии. Он хлопочет об организации литературных выступлений и вечеров, проводимых МАПП совместно с МК РКП(б), принимает деятельное участие в подготовке различных партийных документов, касающихся печати.

В своих выступлениях Дмитрий Фурманов постоянно отстаивал принципы партийного руководства литературой. В докладе на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей в январе 1925 года он говорил:

«Все области нашей государственной жизни, товарищи, все области и борьбы и строительства нашего имеют определенные формы политического руководства коммунистической партией. Как же можно предположить, чтобы здесь этот важный, серьезный и значительный участок идеологического фронта не был взят под коммунистическое руководство?»

Нередко Фурманов присутствует на совещаниях в ЦК РКП(б), где решались те или иные вопросы, связанные с судьбами художественной литературы. На одном из таких совещаний Дмитрия Андреевича включают в состав членов — учредителей Пролетарского литературного фонда, созданного в целях



оказания материальной помощи нуждающимся писателям.

Фурманов принимает резолюцию ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы» как боевую программу.

В этой резолюции давалась мудрая директива воспитания колеблющихся писателей, попутчиков, «тактичного и бережного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии». Резолюция ЦК определяла также задачи литературной критики, ее позиции в идеологической борьбе и отношение к попутчикам. «Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на йоту от пролетарской идеологии», литературная критика должна при этом «обнаруживать величайший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним». В то же время резолюция ЦК требовала принципиальной борьбы с явными врагами.

Фурманов был верным сыном партии. Он сделал очень много в борьбе с буржуазной идеологией, в становлении социалистического реализма.

В феврале 1926 года Дмитрий Андреевич заболел. В это время была созвана Чрезвычайная конференция Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей. С докладом должен был выступить Фурманов. Считая этот доклад очень важным, он с высокой температурой поехал на заседание конференции.

Приехав домой после заседания, он почувствовал себя плохо. Болезнь осложнилась, врачи признали менингит.

Дмитрий Андреевич умер 15 марта 1926 года. Молодой, в расцвете физических и творческих сил, когда ему минуло всего лишь 34 года, он мучительно расставался с жизнью и, казалось, до последнего дыхания чувствовал себя гвардейцем литературы.

Предчувствуя смерть и выбиваясь из сил, он напряженно думал, и светлые мысли бойца не покидали его. Он видел вокруг себя близких товарищей, идущих с ним в одном строю. Квартира Фурманова превратилась, по воспоминаниям Ю. Либединского, в своеобразный штаб: сюда то и дело шли писатели,

общественно-политические деятели, непрерывно трещал телефон — о состоянии здоровья Дмитрия Андреевича справлялись начальник Политического управления Красной Армии А. С. Бубнов, народный комиссар просвещения А. В. Луначарский, видные артисты, художники.

У постели больного поочередно дежурили писатели Юрий Либединский и Александр Безыменский, Александр Исбах и Иван Рахилло, Матэ Залка и Александр Жаров, земляки и фронтовые друзья Николай Хлебников и Павел Шарапов.

Превозмогая жар, Фурманов приветливо смотрел на всех карими воспаленными глазами, все еще выражающими надежду на выздоровление. Отраднo было видеть столько заботливых лиц и глаз, столько чудесных людей, родных и близких, вселяющих веру в жизнь.

Но даже в эти тяжелые минуты угасания Дмитрия Андреевича не хотели оставить враги.

Фурманов, лишенный возможности присутствовать на конференции пролетарских писателей, направил туда письмо следующего содержания: «Приветствую чрезвычайную конференцию, собравшуюся решить важные вопросы для обеспечения правильности руководства пролетарской литературой.

Требую полностью выполнения постановления ЦК о литературе, привлечения «попутчиков», близких нам, очищения наших рядов от двурушников, интриганов и склочников».

Он отлично понимал, что резолюция ЦК «О политике партии в области художественной литературы», написанная на основе принципов ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература», имеет огромное значение для развития подлинно советской литературы.

Письмо Фурманова пришлось двурушникам и интриганам не по душе. Анна Никитична в своих воспоминаниях рассказала, как один из них набрался нахальства, пришел на квартиру к умирающему Фурманову и сказал:

— На что ты надеялся? Ведь вас меньшинство. Вопрос твой провален. Пытались пришить тебе «уклончик», ну да уж пощадили. Пора тебе бросить эту нелепую борьбу...

Фурманов вспыхнул, слегка поднялся на кровати, посмотрел на него.

— Уйди,— глухо проговорил он. Затем повернулся к стене, и больше от него нельзя было услышать ни одного слова.

Поздно вечером 14 марта в квартире раздался звонок. Встретить нового посетителя вышла старшая сестра писателя, Софья Андреевна. Когда она открыла дверь, то увидела сестру Владимира Ильича Ленина, Анну Ильиничну Ульянову-Елизарову. Женщины поцеловались: они были близко знакомы с 1923 года. Анна Ильинична и Софья Андреевна прошли к постели Фурманова. Дмитрий Андреевич был без сознания, губы его пересохли, он бредил. Анна Ильинична встала у изголовья больного, провела ладонью по его воспаленному лбу.

— Жалко, до глубины души жалко Дмитрия Андреевича,— сказала она Софье Андреевне.— До сих пор помню, какое сильное впечатление произвел на меня «Чапаев». Такую книгу мог написать только человек, который сам вместе со своим героем не раз смотрел смерти в лицо...

Литераторы, чапаевцы, тысячи читателей пришли к гробу Фурманова в Дом печати, а до кладбища гроб с телом писателя-воина сопровождал эскадрон кавалерии.

«Для меня,— писал А. В. Луначарский,— он был олицетворением кипящей молодости, он был для меня каким-то стройным, сочным, молодым деревом в саду нашей новой культуры».

Принося соболезнование жене Дмитрия Андреевича, А. М. Горький писал ей: «Он много видел, хорошо чувствовал и у него был живой ум. Огорчила меня эта смерть».

\* \*  
\*

...Каждый год 15 марта, в день смерти Дмитрия Фурманова, собираются его родственники, друзья по военным походам, писатели, чтобы воскресить в памяти черты дорогого человека, его светлые мысли и замечательные дела.

Такие встречи неизменно проходят у сестер Фурманова, Софьи Андреевны и Елизаветы Андреевны.

Бывал на встречах и старший брат писателя, Аркадий Андреевич, старый коммунист, умерший три года назад. Сюда же приходит дочь Фурманова, Анна Дмитриевна. У Анны Дмитриевны сын, носит имя деда, и в семье его обычно зовут Митяем.

Ежегодные встречи в память Дмитрия Андреевича посещают дочь Чапаева, Клавдия Васильевна, Герой Советского Союза генерал-полковник в отставке Николай Михайлович Хлебников, чапаевка Мария Андреевна Попова, Лидия Августовна Отмар-Штейн, старая коммунистка Мария Федоровна Икрянистова, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Александр Васильевич Беляков, генерал армии Иван Владимирович Тюленев, поэт Александр Жаров, артист Борис Бабочкин, заведующий кафедрой литературы Ивановского пединститута им. Фурманова Павел Вячеславович Куприяновский и другие. Душой этих встреч обычно бывает писатель Александр Исбах, в многочисленных трудах которого с большой теплотой раскрыт облик Фурманова.

Чтят память Дмитрия Андреевича и бесчисленные читатели «Чапаева». Это они приносят букеты живых цветов к могиле писателя на Ново-Девичьем кладбище в Москве и подолгу стоят в раздумье у скромного надгробия с изображением боевого клинка и книги.

Автору «Чапаева» воздвигнут памятник — бронзовый монумент скульптора-палешанина Дыдыкина на родине, в бывшем селе Серета (ныне город Фурманов). Как живой, в солдатской шинели и с книгой, уверенно смотрит он вперед.

Памятные места, связанные с именем Дмитрия Фурманова, есть в Иванове и Ташкенте, Алма-Ате и Краснодаре, по маршрутам боевых походов Чапаевской дивизии.

Много лет минуло с тех пор, как умер Фурманов, а его произведения продолжают волновать миллионы читателей. Темпераментность и глубокая партийность его книг дороги нам и теперь.

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Митяй . . . . .	3
Гроза . . . . .	10
Первая любовь . . . . .	14
На Волге . . . . .	20
Изгнание из училища . . . . .	30
Распутье . . . . .	37
Разбитые надежды . . . . .	44
Светлые предчувствия . . . . .	51
Духовная драма . . . . .	59
Твердыня — убеждение . . . . .	70
Здравствуй, новое, неизведанное!.. . . . .	79
Вместе с Чапаевым . . . . .	90
На туркестанскую целину... . . . .	103
В Москву! . . . . .	118
Нацкекинский, 14 . . . . .	122
В родных краях . . . . .	127
Бурные будни . . . . .	132
Почин, получивший признание . . . . .	137
Редактор . . . . .	142
Жить и работать по Ленину . . . . .	148

---



